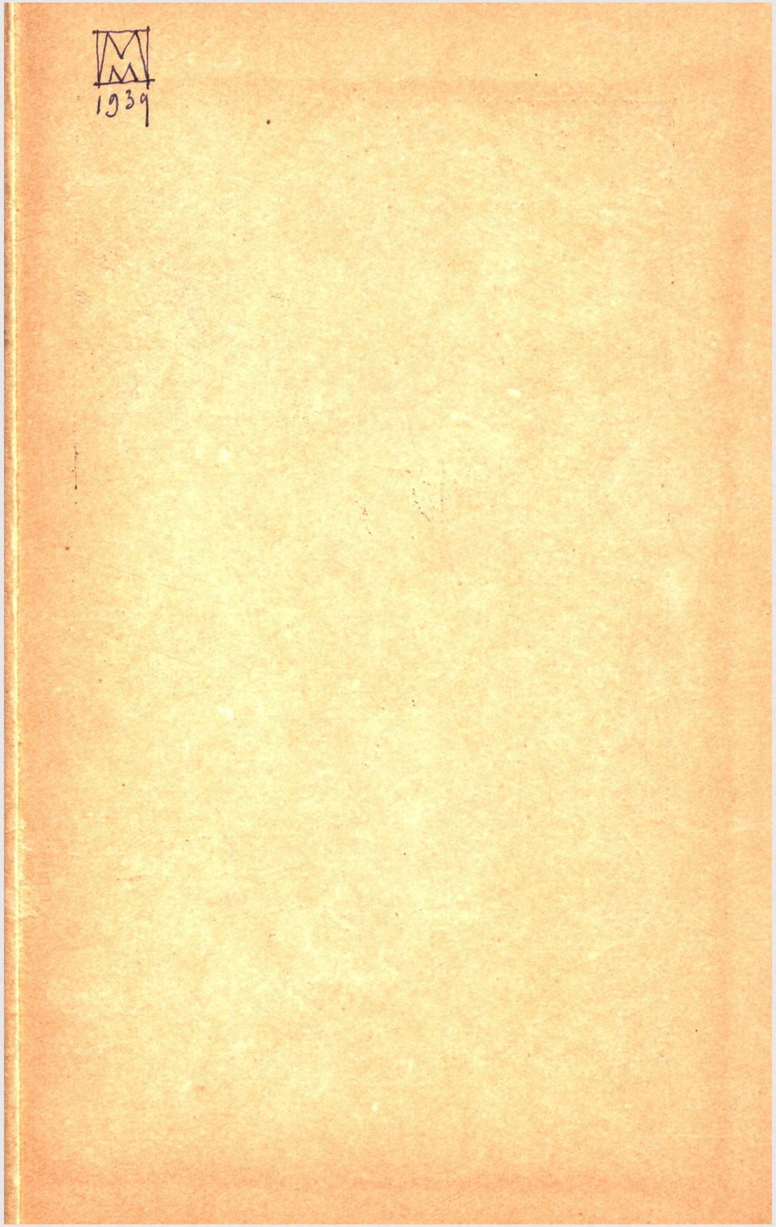
Е. ЛЕВАКОВСКАЯ



КОЧУЙ СЧАСТЛИВО!..

ГОСЛИТИЗДАТ
1939


1939



Е. ЛЕВАКОВСКАЯ

КОЧУЙ СЧАСТЛИВО!..



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„Художественная литература"
МОСКВА 1939



КАРАВАН

Год 1916

1

Долог путь каравана из Калгана в Ургу. Скалы Чойрэна голы и суровы, и весна здесь скупа.

Неутомимо шлепают по желтым пескам Гобийской пустыни верблюды, навьюченные товарами. В соломенных корзинах идет из Калгана чай, зеленый и терпкий; в тяжелых дорогих тюках — шелка, красные и желтые, как пыльные закаты пустыни; синие — цвета весеннего неба, или темные, как верблюжий глаз.

Большими свертками — чесуча. Душистый табак, дорогие папиросы и черное вязкое месиво — опиум. Большие деньги платят китайцы за маленький мягкий шарик. Опьяняясь синим дымом, говорят, находят люди все, чего недостает им в жизни: покой, радость и страсть.

Слышал Мункхо предание.

Давно это было, очень давно...

Жила в Монголии девушка. От юрты к юрте, от аила к аилу, из аймака в аймак текла слава о ее красоте. Со всех кочевий к ней съезжались люди. Каждый встречал улыбку и ласку. Люди оставляли в степи свой скот, коней и были счастливы одной любовью.

Так жила девушка, давая людям счастье.

Но настало время для ее души перейти в другое тело... Люди ужаснулись — как жить, если закатится солнце и опустится вечная ночь?

Тогда девушка сказала им: «Не гневите богов! Непреложна цепь перерождений нашей души. Пришло время и моей душе покинуть свое тело. Слушайте! Если будет мучить вас горе, если устанет ваше тело и ожесточится разум — придите на мою могилу. Там найдете то, что заменит вам мою ласку и смех».

Умерла девушка. Мир стал людям нерадостен. Они пошли на ее могилу и, придя, остановились в удивлении. Невиданными цветами расцвела степь. Ласковые и мягкие изгибались по ветру лепестки маков.

В синих дымах макового зелья стали прятаться люди от слез и горя и снова видели ту, что давала им счастье.

Много сказаний хранят в себе степи и горы. Много проходит песен в памяти человека за длинный весенний день.

Велик караван, а идут с ним всего два погонщика. Один — с первым верблюдом, другой — в конце каравана. Изредка прокричит орел, напружиненным крылом взволнует ленивый воздух. Тяжела тишина пустыни. Чтобы рассеять безмолвие, погонщики перекликаются песнями.

Зажмурив глаза, Мункхо идет перед караваном и поет высоким голосом:

Лучше б быть этим скалам мелкими камнями,
чем в бурю песком распыляться...
Лучше б мне совсем не знать тебя, чем, сжившись
с тобой, разлучаться...
Эй-аа-а-а...

Горькая тоска слышится в одинокой песне:

Не стадо ль овец моих в падях зеленых белеет?
Не мой ли табун вдалеке по степи, как ветер,
промчался?

Медленно шагает Мункхо. Знает, что только в песне есть у него табун резвый, как ветер. Нет у Мункхо табуна, но есть овцы, есть юрта, дети и Машик — красивая жена.

Крепки алганские веревки, которыми вяжет Мункхо верблюжьи тюки, но крепче веревок вяжут его долги.

Купец ласков, когда приходит к нему арат. Всегда наготове у него для гостей чашка чаю и пахучие сигареты. Сам предлагает: «Бери! Ничего, что нет денег, потом заплатишь! Вот пострижешь овец...»

Постригли овец. Купец пришел в юрту к Мункхо — сам пришел — и начал считать деньги, долго считал, загибая тонкие пальцы с длинными ногтями, а когда кончил считать, оказалось, что надо еще столько же шерсти, чтобы заплатить весь долг. И тогда Мункхо ушел в возчики к ургинскому купцу, чтоб освободить юрту от долговых пут.

«Хорошо, если б отнять у человека память! — часто думалось ему. — Работал бы он,

как верблюд, и забыл бы волю. Но человек помнит волю и любит ее.»

Нескончаемы дни пути. По утрам Мункхо иногда дает верблюдам соль. Лохматые животные собираются вокруг него и жадно лижут соль длинными языками. А потом — снова светлая лента дороги, красноватая пыль миражей, бесплодные полосы солончаков.

Костер ровно догорает в ночном холоде. Трещит сухой аргал [1]. Спят верблюды, свернув гибкие шеи, спят псы, спит караван там, где застала его ночь и стреножила мраком. Мункхо тянет трубку и медленно покачивается, как ковыль на ветру:

— Вот приду в Ургу... Сдам товар, будут деньги... Вернусь домой, не будет долгов... Вырастут мои дети, умножится мой скот...

— Мункхо, как в возчики пошел? — спросил спутник.

Это был молодой, красивый, очень смуглый человек с длинными, узкими, чуть скошенными к вискам глазами и упрямым, резко очерченным ртом. У него был короткий прямой нос и крепкие широкие скулы. Казалось, он легко, одним нажимом челюстей мог бы перекусить свою оправленную в серебро трубку.

— Разве пошел бы я водить чужие караваны, оберегать чужие товары, если б было что платить купцу? — нараспев ответил Мункхо, глядя в огонь полузакрытыми глазами.

— А почем у купцов товар покупал? Что покупал? Чесучу, табак, зеленый чай да гуту-

---

[1] Аргал — высушенный навоз.

лы[1], а платишь, платишь и еще будешь платить? А верно ли знаешь, что не втридорога купец берет?

Мункхо поднял глаза.

— Странные ты слова говоришь! — сказал он и вытащил из-за пазухи кисет с табаком. — Не нам про то знать. Больших людей бог сделал большими. Разве может арат судить ноена[2], разве будет волк слушать дзерена?[3]

Через костер они обменялись трубками.

— А зачем ты караван ведешь? — спросил Мункхо у молодого.

— Случайно! — улыбнулся тот. — Я погонщик почтовых коней.

— Много, наверно, людей видишь, новостей слышишь? — Мункхо с интересом ощупал глазами высокую фигуру спутника.

— Много!

— Много хороших коней видел?

— На то и степь, чтоб хороши были кони! Да что наши кони! — погонщик тряхнул головой. — Люди говорят, что в тысяча девятьсот одиннадцатом году, когда Монголия от Китая отделилась, монгольские ханы Белому царю в подарок послали пять коней. Не всякий стрелок из лука стрелу так пустит, как те кони летят, — на том коне столько можно ехать, сколько всадник выдержит.

Мункхо поджал губы.

— Ну, нам и волоса с хвоста таких коней не видать!

Костер задохнулся пеплом и погас. Сразу стало холоднее. Ночь тесно придвинулась к лю-

---

[1] Гутулы — национальная монгольская обувь.

[2] Ноен — крупный ханский чиновник.

[3] Дзерен — степная антилопа.

дям. Мункхо зябко передернулся, глубоко засунул руки в рукава и, глядя на последние искры, задремал.

Голос погонщика прогнал дремоту.

— Почему так, — говорил тот. — Вот в одиннадцатом году князья, ламы говорили: «Переворот! Монголию освободили, сами монголы страной править будут». Автономия! Так ведь?

Мункхо кивнул.

— Так! Вот и переворот прошел, и автономия стала. А арат как был, так и остался: ламе — плати, хану — плати, чужим купцам — плати...

— Старые долги отменили! — упрямо сказал Мункхо.

— Старые отменили, — новые растут. Ты-то сам как до автономии купцам караваны водил, так и теперь водишь!

— Ну, почему же так? — Мункхо придвинулся ближе к погонщику и открыто посмотрел ему в глаза. — Почему, скажи-ка!

— А потому, что раньше монгольских кобылиц доили, монгольских овец стригли, монгольские травы топтали одни монгольские князья да китайские генералы и чиновники, а в тысяча девятьсот одиннадцатом году и Белый царь свою долю взял. Смотри!

Он взял кусок аргала и резким движением разломал его пополам.

— Поделили Монголию. Мандарины с Белым царем из-за Монголии спорили, — вот и весь переворот! А князьям нашим аратская свобода все равно, что вот...

Он отбросил от себя аргал.

— ...не дороже!

Мункхо ничего не сказал. Он только весь сжался и глубже втянул голову в плечи.

— Велики монгольские степи, а тесно становится в них монголу... Э?..

Не дождавшись ответа, молодой поднялся, расправил гибкое тело и вышел из палатки.

2

Широкой рекой течет Калганский тракт, впадая в китайский пригород Маймачен — ключ к Урге. На столбах его храмов цветут каменные цветы, блестят неживыми глазами драконы, и кажется, что резные могучие крыши слишком тяжелы для тонкого кружева стен.

В свежем воздухе неустанно и тихо звенят священные колокольчики, но звуки их теряются в криках верблюдов, в говоре людей, шуме кузниц. Маймачен встречает утро.

Душистые табаки, сладкие от опия сигареты. Тонко и неуловимо пахнет в лавках тысячелетним Китаем. Ласковая, извилистая, бескостная речь китайцев путается с монгольским говором, жестким, быстрым, терпким.

Долог путь от Калгана к глухим каменным мешкам — складам Маймачена. Окованные железом и медью ворота охраняют крепость купцов-завоевателей. Вся жизнь — внутри двора.

Подошел караван, окутанный, как дымом, серыми клубами пыли. Взяв за узду первого верблюда, Мункхо ждал у запертых ворот. Послышались шум, беготня, загремели тяжелые засовы.

Остановившись у ворот, Мункхо следил, как верблюды, неслышно ступая по пыли мягкими ступнями, один за другим входили в чистый, просторный двор купца Цаэ-Лян-Куэ.

Когда прошел последний верблюд, Мункхо

облегченно вздохнул и стал закрывать ворота. Долгий путь был окончен. Товары пришли на место.

Днем, наблюдая за разгрузкой каравана, хозяин сказал Мункхо, с трудом выговаривая резкие созвучия монгольской речи:

— Очень хорошо. Приходи завтра. Будем чай пить, разговаривать.

Прощаясь, он улыбнулся, и от улыбки узкие глаза совсем исчезли под пухлыми, гладкими веками.

Ведя под уздцы лошадь, Мункхо вышел от купца и вместе с молодым погонщиком поехал в город.

Они ехали, не торопясь, медленно покачиваясь в седлах. Вдали дымила Урга. Кругом цепью тянулись горы, синел священный хребет Богдо-Ула.

— Ой, велика Урга, — вздохнул Мункхо, — ой, велика...

— Говорят, еще больше города есть! — задумчиво ответил спутник.

На полдороге от Маймачена до Урги они проехали мимо российского императорского консульства.

— Странные люди! — усмехнулся молодой. — Смотри, каким рвом отгородились от степи. А у нас юрта всем ветрам открыта, каждому человеку рада.

Они хлестнули коней и, привстав на стременах, поскакали к Урге.

У подножия красивейших отрогов Кентейского хребта раскинулся грязный беспорядочный город. Бесконечными саманными заборами, серыми и потрескавшимися, были окружены вытоптанные дворы. Рядом с маленькими одно-

этажными домиками лепились крепко вросшие в землю обложенные камнями юрты. В узкие, извилистые переулочки, сжатые высокими частоколами, темные и затхлые, никогда не проникало солнце. Под заборами, лениво почесываясь, лежали черные чесоточные псы.

По большим улицам нескончаемой цепью тянулись пестрые китайские лавочки, парикмахерские, харчевни. Ночью над их дверями и окнами зажигались круглые бумажные фонари. Освещенные причудливым светом, гибкие драконы надували на ветру свои шелковые бока и, как живые, трепетали огненными хвостами.

На площади протекала, сжатая в деревянное бревенчатое русло, мутная Сельба... Весной она бунтовала, разбухая от талых горных вод, и заливала город. Базарные собаки нехотя покидали свои насиженные теплые ямы, а лавочники — свои палатки и лотки. И собаки и лавочники перебирались на холмистую часть города и терпеливо ждали, когда спадет вода.

За базаром, на высоких холмах, раскинулся ургинский монастырь Гандан — самый большой и почитаемый в Монголии. Над ламскими юртами шелестело на ветру бесчисленное количество священных шелковых знамен с начертанными на них молитвами и заклятиями. Так же, как у мирских, бродили по узким загаженным переулочкам лохматые псы; так же, как мирские, монахи, задрав халаты, опрастывали животы прямо на улицах. Сновали ламы, молодые и старые. Не было только женщин—которым буддийский закон запрещал проживать на ламской территории. Сверкая на солнце позолоченными крышами, высился похожий на китайскую пагоду гигантский храм Майдари.

Из-под копыт коней, мягких верблюжьих подошв, грохочущих колес китайских тележек и пролеток вздымались густые клубы мельчайшей едкой пыли.

Мункхо и его спутник въехали на площадь и придержали коней. В клубах пыли отара овец переходила дорогу. Овцы бестолково топтались на месте, а вслед за ними медленно плелась старуха-нищенка, ведя за собой на веревке свою овцу. Она подманивала овцу клоком сена. Та осторожно несла на тонких ножках огромный тяжелый живот. Прижатая к всадникам, старуха загородила ее от коней своим маленьким скрюченным телом.

В пыли, поднятой отарой, незаметно подошла толпа. На носилках лежал хан. Носильщики крикнули старухе, но она была глуха. Ее толкнули в плечо. Тогда она обернулась и с ужасом, бросив сено, потянула овцу за веревку. Испуганное животное стало пятиться. Увидев, что на бесстрастном лице хана брови сошлись суровым углом, первый из его свиты сердито закричал на старуху, вырвал у нее из рук веревку, преграждавшую носилкам путь. Овца осела на задние ноги. Толпа прошла по ней.

Когда рассеялась пыль, носилки были уже далеко. Овца лежала на дороге, ворочая желтым стеклянным глазом; из ее узкого рта выпирал прикушенный язык. В красной луже валялся облепленный пылью ягненок. Схватившись за голову, старуха подбежала к овце, подобрала ягненка в рваный подол, трясущейся рукой обтерла ему голову и запрятала от утреннего холода под полу халата.

Улица шумела. Мункхо оглянулся на спутника, который упорно и недобро смотрел вслед

носилкам. Подъехав к старухе, погонщик бросил ей монету.

— Ну, прощай. Кочуй счастливо!.. — сказал он, обернувшись к Мункхо.

— Прощай, — отозвался Мункхо, — может быть, увидимся. Откуда ты, с каким именем живешь?

— Только гора с горой не сходятся, — улыбнулся молодой, — а зовут меня Сухэ-Батор.

И, ударив коня, он скрылся в пыли.

— Денег у тебя мало! — медленно говорил купец, подвигая к Мункхо жирную лапшу. — Тебе долг платить надо, тебе подарок жене надо... Пойди с моим караваном на северную границу в Кяхту. Туда придешь, и на обратном пути работа будет. Встретишь русских чиновников, купцов, в Ургу привезешь, много денег получишь, а?

Мункхо задумался. Хотелось в юрту, к семье, но купец был прав — денег нехватало.

— Живи, как хочешь, Мункхо, Урга велика — возчиков много. Э?

Пустой карман низко к земле тянет голову. Ударили по рукам.

Мункхо повел в Кяхту обоз быков. В Кяхте он встретил купцов. С ними был молодой переводчик, с тонким, бледным лицом, говоривший по-русски, по-китайски, по-монгольски, и для каждого языка у него был другой голос. На мизинцах его красивых рук росли длинные, острые ногти, а тонкое, гибкое тело казалось еще тоньше в блестящем черном шелку.

Переводчик, позвав Мункхо, сказал, что большой русский купец едет в гости к большому китайскому купцу.

— Понесешь за ним подарки!

Купец жил в Кяхтинском Маймачене.

В большой комнате, куда их ввели, было сумрачно и прохладно. Мункхо оглянулся, ему стало душно, — что за жизнь без степи, без солнца? Он подошел к переводчику, чтоб передать ему ящик с подарками и уйти, но переводчик только кивнул головой на угол у входной двери и отвернулся, — в комнату входил хозяин. Он был еще не стар, усы мягко свешивались мышиными хвостиками над уголками рта, и от этого даже в любезной улыбке лицо его сохраняло оттенок презрительности. Он говорил бережно и плавно.

Когда русские ехали домой, с востока, из густой синевы, медленно поднимался бледный круг месяца. За поворотом улицы, в глубине маленького двора, под клетками с сонными птицами, сидел старый китаец. Пощипывая струны своего хучира [1], он покачивался и пел. Где-то за оградой откликнулся еще голос.

В тесных улочках сгущался мрак. Над воротами вспыхивали фонарики. Женщина с надменным ртом и слишком смелыми глазами медленно прошла по улице. Это была монголка, но весь ее костюм, от маленьких ног, обтянутых черным шелком, до длинных причудливых серег, был создан искусством Китая.

В конце тупика, куда проваливалась улица, чуть мерцал желтый свет фонарика, и в темноте пропадали одинокие темные фигуры. Запомнился один, — лицо его было бледнее, чем у других китайцев, пустые стеклянные глаза не видели ничего, кроме желтого света. Мункхо вдохнул

---

[1] Монгольский струнный инструмент.

странный, неприятный запах и вопросительно указал переводчику на прохожего.

— Опиум! — равнодушно ответил тот.

Мункхо вспомнил свой далекий путь, тюки с китайскими товарами. Здесь, в городе, было все, что он привез из Калгана: дорогие шелка, укутавшие тело девушки, чтобы сделать его приятнее рукам купивших ее людей, таинственное зелье, от которого пустели глаза человека. Ноздри Мункхо, обожженные чужими запахами, затосковали по степному ветру и родному дыму очага.

Из Кяхты шли большим караваном, впереди трусил верхом главный проводник, Лаучи, важный и толстый. Завидев караван, из степи мчались проезжие — посмотреть людей, узнать новости.

Мункхо принимал важный вид, каждому обязательно рассказывал, что едет большой русский чиновник с несколькими купцами.

— А далеко ли едут, зачем едут?

— В Ургу едут. Товары везут. К Богдо-Гегену, многими возведенному [1], пойдут.

Удивленные степняки причмокивали губами, рассматривали арбы, бычью кладь, людей, потом ударяли по коням и несли в степь свежие новости: русский чиновник едет! Купец едет! Товары везет! Подарки везет! К Богдо пойдет!

Новость катилась по степи, как перекати-поле. Распухала, обрастала слухами, и из одного чиновника становилось сто, из тридцати коней — три тысячи.

---

[1] Официальный титул теократического главы Монголии, принятый им в 1911 г., после отделения Монголии от Китая.

Караван шел долго. От ночи до ночи, от воды до воды. В весеннем солнце грелись пади. Мункхо, как собака, тянул носом воздух, почуяв весну, тепло. И улыбался — скоро домой!

— Ой, Мункхо! — окликнул его переводчик,— спой песню. Русские купцы хотят послушать монгольскую песню.

Мункхо оглянулся. Один купец открыл мухлюк [1] и сидел, подогнув ноги, по-монгольски. Другие, скинув шубы, шли рядом, говорили о чем-то, осматривались.

Мункхо никогда не отказывался петь. Что может дать бедный человек, кроме хорошего слова и песни? Мункхо пел долго, подняв голову к небу. Вдруг, заслышав какой-то шум позади, он оборвал песню на полуслове. Оглянулся, удивленный.

Купцы шли, опустив головы. Тот, что сидел в мухлюке, тоже уткнулся глазами в свои сапоги, а когда поднял лицо, в его круглых глазах и в общем молчании Мункхо почувствовал смех. Все молчали, но он знал, что над ним смеются, понял, что чужим, круглоглазым, непонятна его любовь к степи, его тоска по кочевьям, что смеются над самым дорогим, близким. Невольно пожал плечами, — зачем же тогда было просить его петь? Если человек поет, значит, его душа говорит. Над этим нельзя смеяться.

Мункхо отвернулся, а когда на хорошей дороге его конь заплясал, прося ходу, и купцы стали любоваться поступью иноходца, он сердито ударил коня кнутом и пустил его в сторону, в степь, чтобы конь не показывал чужим своей силы и прыти.

---

[1] **Мухлюк** — крытая монгольская арба.

По свежему дну долины, петляя, как лиса от собаки, бежал ручей. Льдистые торопливые струи заметали следы, затихая в маленьких болотцах, потом незаметно выбирались на каменное русло и опять журчали звонко и холодно. По болотцам, осторожно переставляя тонкие ноги, бродили парами и курлыкали голубые равнодушные журавли. Посмотрев на Мункхо, птицы, не торопясь, ушли вниз по ручью.

Далеко, на зеленом бархате холмов, паслись бараны, белые, как стайки облаков. Конь подошел к воде, опустил голову и жадно потянул студеную влагу.

АИЛ

— Ну, слушай, Денсима! В давнее время в доме одного ламы завелось множество мышей. Стало пропадать пшено. Лама пришел в ярость, хоть велено святым гнать от себя гнев, и решил караулить вороватых мышей. А в это время пришла кошка и украла у ламы четки. Лама погнался за кошкой, ухватил ее за хвост. Но хвост оторвался, и кошка убежала с четками. Тогда кошке стало плохо. Не стало сил ловить мышей, и от голода ее голова стала хитрой...

У маленькой Денсимы глаза, как черные ягоды. Она переступает голыми ножками, опершись на колени дяди, и жадно слушает сказку:

— ...кошка повесила на шею четки и отправилась к норам. Там она крикнула: «Смотрите, мыши! Я — кошка — отреклась от десяти черных деяний! Слушайте, мыши! Я — кошка — приняла учение Будды!» На скромный кошкин голос вышла Главная мышь и, поглядев на кошку в четках, сказала: «Странно, но она, видимо,

действительно стала тихой благонравной кошкой».

Тогда Главная мышь пошевелила усами и вывела из нор весь мышиный аил.

— Но случилось так, — продолжал Доржи, — что кошка, став служителем Будды, стала жиреть и толстеть, а Главная мышь заметила, что ее аил уменьшается в числе, и, убедившись в обмане, она решила уличить бесчестную кошку...

Машик, мать Денсимы, внесла в юрту ведро с молоком и недовольно прислушалась.

— Зачем опять без почтения говоришь о ламах, Доржи? — сказала она, выпроваживая ребятишек из юрты.

Старшая девочка Цинде упиралась и кричала:

— Как узнали про кошку?

Доржи засмеялся:

— Идите, гуляйте! Главная мышь посмотрела кошкин кал и нашла в нем мышиные кости. С тех пор все кошки прячут свой кал.

Ребята выбрались на улицу. За ними, урча, медленно вышел из юрты большой мохнатый кот.

— Не рассказывай этих сказок, — сказала Машик, берясь за шитье, — ты накличешь на нашу юрту беду своей пустой болтовней о ламах.

Машик быстро работала иглой. Из урхо [1] к очагу протянулся прозрачный столб света, в нем неутомимо кружились пылинки... Доржи курил, и дым от его трубки едва-едва поднимался вверх — так тепел был степной воздух.

— Зачем ты ушел из монастыря, — вздохнула Машик, потянувшись за новой ниткой.

---

[1] Урхо — отверстие для выхода дыма.

— Уходят и другие, — спокойно ответил Доржи и тоже вздохнул. Он привык к жалобам домашних, знал, что перечить бесполезно, а монастырская жизнь научила его терпению.

— Другие? Но ведь уходят, если умерли братья, если гибнет род, если некому беречь очаг. А ты? Без причины от святой жизни ушел, лам не почитаешь, как надо. Вот и наказывают тебя боги — не дают детей.

Доржи передернулся, — Машик задела больное место. Выбив трубку, он встал, подошел к урхо и потянулся. Свет пробежал по его изрытому оспой лицу, невысокой гибкой фигуре.

В степи проблеяли овцы, совсем рядом заржала лошадь, и войлочная стена зашуршала. Маленький жеребенок чесал об юрту свой лохматый бок. Доржи шлепнул ладонью по войлоку, из степи донесся испуганный топот.

— Значит, лама может и детей намолить? — рассеянно спросил Доржи, опускаясь на кошмы рядом с Машик.

Женщина подняла лицо, в теплом полумраке юрты ее кожа золотилась, как тела бурханов [1]. На высоком лбу ровными дугами лежали тонкие брови, из-под них лениво глядели черные, блестящие глаза. Сочная и красивая, как спелый плод, она раздраженно отмахнулась от Доржи:

— Как будто ты не знаешь? Лама молится и своей святостью замаливает наши грехи.

Глаза Доржи сузились в щелки. Он криво усмехнулся:

— Вижу! От его молитв у тебя скоро опять живот вспухнет.

Машик резко поднялась, отбросила ногой

---

[1] Бурхан — бог.

шитье. К нарумяненным щекам прилила кровь.

— Молчи ты! — крикнула женщина, и голос ее оборвался. — Молчи! Что ты болтаешь своим лживым языком? Лама свят! Он знает, что делать. Не тебе, отступнику, судить его!

Машик отвернулась к стене. Ее плечи вздрагивали. Стиснув руками лицо, она прошептала:

— Где же Мункхо? Что он не едет?

— Не плачь! Скоро вернется, — сказал Доржи, неуклюже ласково погладив ее голову.

За дверью послышались голоса. Машик торопливо отерла лицо. В юрту вбежала Цивильма — жена Доржи.

— Что сидите? Сейчас Долгора венчать будут! Ламы пришли, невеста приехала!

Они втроем вышли и, оглядевшись, побежали на другой конец аила, где жил Долгор.

У дверей жениховой юрты толпились араты. Машик протискалась вперед.

Невеста с женихом сидели по обычаю у порога. Встал первенствующий лама и сказал то, что говорили до него ламы и Машик и многим сотням других девушек, прежде чем те начинали по-женски заплетать косы:

«Подобно тому, как со времен древнейших ханов и святого повелителя Чингиса многие большие и малые ханы и их подданные привозили своих невест из чужих далеких кочевий... Ныне, следуя всем старым обычаям, отцы и матери попросили благословения у мудрецов и привезли эту известную своим благонравием девушку...»

Ламы хором подхватили молитву. Голосам было тесно в юрте, они рвались в дверь и доносили священные слова до последних в толпе.

«...девушку, обладающую неисчислимыми благожеланиями, мы преклоняем перед тобой... Эту

девушку преклоняем мы перед могущественным гением — хранителем огня... Соизволь, о, великий, ниспослать ей распространяющееся во все стороны благо...»

После каждого стиха невеста отдавала земной поклон ламам. Пламя плясало по их неподвижным лицам. Один из них, лама Самбу, скосил глаза на Машик.

Ламы уже готовили жертвы богу огня, первенствующий взял оловянное зеркальце и опять запел:

«Этот прекрасный предмет, вполне приятный для зрения, приносим мы прекраснейшему богу огня... Да распространится влияние и красота этой поистине счастливой девицы...»

Машик усмехнулась: она не отдала бы своих тридцати лет за молодость невесты, — девушка была некрасива. Оценивая ее, Машик невольно выпрямилась, почувствовав свое женское превосходство, и опять черные полумесяцы ее глаз столкнулись с пристальным взглядом Самбу — ламы ее юрты, учителя, наставника, заступника перед богом.

В огонь бросили зеркальце, деревянную дудочку, сахар, шелковый платок. Медленно пролили масло, и оно вспыхнуло в воздухе. Огненные боги неистовствовали.

«Небо и земля, представляя собой мудрость, производят все доброе. Подобно тому, и эти двое, соединившись вместе, да распространяют вокруг себя добродетели и пребывают вовеки в чистоте!»

В огонь полетела пригоршня сала:

«Ом Мани Пад Ме Хум!»

Девушка улыбнулась, усталая и счастливая. Огонь медленно затихал.

Вместе с вечером на аил шла из степи прохлада.

Когда женщины вернулись, трое ребят, черноволосых и крепкотелых, спали, свернувшись на лежанке. Боги наградили дом Мункхо большой благодатью. Укрывая халатом детей, Машик поймала полные грустной зависти глаза Цивильмы, которая оставалась бездетной. Лама сказал — за грехи мужа! Зачем ушел из монастыря, легкомысленно сменил жизнь монаха на аратское кочевье? Цивильма осуждала его, Машик осуждала, брат Мункхо осуждал и все люди в аиле, а Доржи молчал, и кто знает — какие мысли носил в своей упрямой голове. Он покинул монастырь после того, как оттуда ушел его любимый учитель, — лама большого сана. С тех пор прошло шесть весен, но, видно, боги долго помнят людские грехи.

Пришел Доржи. Они втроем расселись на кошмах вокруг очага и, обжигаясь, медленно тянули зеленый чай. Огонь плясал по аргалу, облизывая жирные края котла.

Вдруг за юртой псы захлебнулись лаем. Скрипнула дверь, и, пригибаясь, вошел лама Самбу. Он поклонился сидевшим, и они, поднявшись, в свою очередь поклонились ему.

— Здоровы ли вы? — спросил лама. — Здорово ли ваше тело? Есть ли новости?

Они ответили:

— А здоровы ли вы? У нас нет новостей. А у вас есть ли?

Так велел обычай. А потом, опустившись на первое место хозяина, лама сказал:

— Ночь темна, мой конь устал, а монастырь далек. Не найдется ли места переночевать?

Машик расстелила ему на лежанке шубу и

кошмы. Говорили о свадьбе, о стадах, о слухах, что ходят в степи.

— Проезжал ханский гонец из Урги в Кобдо, — дуя на чай, сказал лама, — говорил, что в Урге построили кумирню и в той кумирне стоит бурхан в восемьдесят локтей вышиной. Говорил, что бурхан тот вылит из золота и красив необычайно.

— Восемьдесят локтей! — воскликнули женщины.

— Еще говорят, — продолжал лама, — что в Урге случилась большая беда. Стал слепнуть многими возведенный владыка желтой веры Богдо-Геген, — лама молитвенно закатил глаза, помолчал, потом опять принялся за чай. — Стал слепнуть и сказал князьям, что лишь при виде готовой кумирни прояснится снова свет его глаз. И воистину свершилось чудо — владыка прозрел, увидев величие нового храма...

Подбросив аргал в очаг, женщины вышли согнать на ночь к юрте баранов. Когда за ними закрылась дверь, лама поднял глаза на Доржи и придвинулся к нему. Лама смотрел на него настороженно. Так смотрят на бывшего сожителя, который, уйдя, унес с собой все тайны совместной жизни.

— Много покоя нашел в миру? — тихо спросил Самбу.

Доржи пожал плечами.

— Я его и в монастыре не покинул. Смотри! Пламя жжет, но и оно потухнет. Когда же вы кончите меня расспрашивать?

— Зачем ты покинул монастырь? — настойчиво допытывался Самбу.

— Но разве не каждый волен уйти? — Доржи разворошил аргал. Пламя осветило его вы-

сокий лоб и усталую складку рта. Лама Самбу пытливо всматривался в его лицо:

— Смотри, скоро в твоих волосах блеснет иней. Пристойно ли было тебе — зрелому, ученому — покидать святой монастырь?

— Голова моего учителя серебриста, как звезда на заре, однако ушел и он.

Самбу замолк, перебирая четки. Скрипнула дверь, женщины вошли в юрту. Лама отодвинулся от Доржи и, нахмурившись, смотрел в огонь.

— Скоро ли Мункхо вернется? — вздохнула Машик. — Деньги нужны, налог платить надо...

— С налогом не знаю, что буду делать! — сказал Доржи. — Приплод нынче плох!

— Думаю, что раньше не было и в будущем не будет случаев, чтобы обеднел человек, охотно вносящий хану налоги, — сказал строго лама Самбу, — разве не верна пословица: «Платящего налоги опекает небо, а свершающего благочестивые поступки спасает Будда»?

Он оглядел сидящих. В тишине стало слышно урчание кота и сопение ребятишек.

— Ну, пора! — сказал Доржи жене.

Они поднялись, поклонились и вышли. За ними встала Машик.

— Куда ты? — спросил лама.

— Пойду в арбу спать. Голова болит, — отозвалась женщина.

Аил тонул в густом мраке. Невдалеке, чуть видные, спали овцы. Изредка зелеными огоньками поблескивали глаза псов. Около юрты, путаясь в треноге, щипала росистую траву лошадь ламы. Машик зашла за юрту, подперла оглоблей мухлюк, постелила кошму и, завернувшись в шубу, забралась внутрь. Было темно, пахло

шерстью и степью. Раздевшись под шубой, Машик заснула.

Проснулась от шороха. В мухлюке шарили руки. Узнала, послушно подвинулась. Лама Лег и притянул ее к себе. Орохомчи[1] сполз на траву длинной темной змеей.

Она покорялась, не думая, безропотно. И когда вернувшийся Мункхо, взяв в руки голову жены, спросил ночью:

— Был ли кто у тебя? — Она, не видная в темноте, медленно покачала головой: — Нет! Никто!

Ближе придвинулась к мужу. Знала его нрав: Мункхо был тих и ласков, но ревнив.

Машик солгала ему со спокойным сердцем, зная: лама свят и что ни делает он — свято.

Пришло время платить хану подати. В помощь ноенам хан послал по аилам своих солдат.

По юртам плакали аратки; ламы утешали их: «Если ты бедна, то знай — тебя давят грехи предыдущей жизни! Продавай свою силу богатому и трудись. Хозяин будет бранить — покорись. Он увидит твое усердие и назначит твою семью смотреть за его огромными стадами. Так достигнете вы хорошей жизни и благочестия!»

Солдаты хана отбирали последнее. Плакала и Цивильма, когда погнали стадо, не вытерпела и обняла свою овцу. Солдат оглянулся, подошел, взял блеющую овцу за уши и, не торопясь, спокойно оттолкнул женщину ногой.

Доржи рванулся из толпы. Его лицо стало серым. Мункхо сзади удержал брата.

---

[1] Длинная чесучевая перевязь, знак духовного звания.

— Ты что — крикнул он, — разве не знаешь? За бунт казнят!

Холодные, внимательные глаза ноена в упор смотрели на аратов. Он смотрел, слушал, потом повернулся и пошел за солдатами. Тогда из толпы торопливо отделились еще двое и помогли втащить Доржи в юрту. Машик побежала к Цивильме.

В юрте со страшным, беззвучным плачем отчаяния Доржи упал на землю вниз лицом.

Вокруг него сидели трое монголов, и один, самый старый, сказал:

— Великим дождям надо быть, чтобы налились в степи сухие русла! Много горя надо выпить монгольскому арату, чтобы жизнь его стала, как слезы, горька!

Остальные покачали головами. Глядя на брата, Мункхо вспомнил слова своего случайного попутчика по каравану — Сухэ-Батора: «...тесно становится монголу в монгольских степях!»

Когда ханские слуги ушли из аила, день клонился к закату. Араты ходили, смотрели, считали оставшиеся стада.

Цивильма с распухшим плечом лежала в юрте. Мункхо погнал коня за степным ламой — лекарем — и привез его, когда зажглись звезды. Опершись на плечо Мункхо, лекарь слез с лошади и пошел в юрту. В темноте на лежанке тяжело дышала Цивильма. У холодного очага, нахохлившись, как птица, и зарыв голову в плечи, сидел Доржи. Лекарь пошел на дыхание больной, сел возле, положил руку на лоб женщины. Говорил слова простые, легкие, какие говорят детям. Попросил огня. Доржи зажег аргал в очаге. Взглянув на лицо Доржи, старик

покачал головой и, ничего не сказав, вынул из-за спины большой кожаный мешок. Развязав его, стал рыться во множестве маленьких мешочков. Слезящимися глазами читал белые листки с названиями. Маленькой металлической ложечкой отмерил нужное снадобье, развел в чашке с холодным чаем и дал Цивильме. Потом достал мазь — мазать плечо.

Казалось, что в юрте от уверенных движений и слов старика стало спокойней. Спрятав лекарства в мешок, лекарь подошел к Доржи:

— Эх, неугомонный! Хорошо бегать жеребенку, поставив хвост свечкой, но подобает ли шестилетку дичиться седла?

— А если седло до кровавых ран трет? — спросил Доржи. — Что тогда? Скажи ты, который был зрел, когда я не мог еще и вороны прогнать?

— «Разве кончит когда-нибудь аист подбирать рыб алмазного моря, разве это так легко — перешагнуть через мучения — следствие прежних перерождений?» — ответил древним стихом лекарь и, взяв голову Доржи маленькими руками, стал тихо гладить его виски, лоб, как будто перед ним сидело несмышленое дитя, как будто не лежали на плечах у этого человека сорок два долгих года, тяжелых, как камни.

— В далеких скалах есть желтая драгоценность — янтарь... Есть и у тебя драгоценность — учитель твой, преподавший тебе желтую веру... Ступай к твоему учителю — проси научить тебя покою! — заключил лекарь, разгладив рукой морщины на лбу Доржи.

Доржи исподлобья взглянул в ясные глаза старика и не решился нарушить их тишину — сказать, что и сам учитель непокоен.

ЗАРНИЦЫ

После 1917 года.

1

Холодным северным ветром пахнула Сибирь на монгольские степи. Лютая зима стояла над страной. Подходили ближе голодные волки, и, испуганные ночным воем, жались к юртам стада. В сопках стонал, выл и хохотал ветер. Метель трясла снежной гривой, а когда утихал буран, солнце торопливо проплывало по белой мути. Старые люди выходили в степь, глядели на мутное солнце и качали головами — не к добру. Медленно, смутно, от аила к аилу по степи текла страшная весть — в Урге князья покончили с автономией, продали Монголию. Опять будут править мандарины и придется уплатить старые долги, о которых все забыли.

Услыхав новость, Доржи вскочил. Денсима упала с его колен, ушиблась и заплакала. Мать молча подхватила ее.

— Продали! — кричал Доржи. — Продали! Видно, чужое серебро дороже монгольской воли. И десяти лет не прокочевали без чужеземной управы! Опять в двойную кабалу!

— Молчи! — испугался арат, привезший весть, — молчи, Доржи! Раньше, чем весть пришла, было сказано — ловить тех, кто много говорить будет! Вон, Токтохо за большие пальцы ног подвешивали. И двадцати раз не вздохнул. Знаешь?..

Шопот катился по юрте:

— А жене его бамбуковые занозы под ногти загоняли...

— А то на ладони льют расплавленный свинец...

Женщины крепче прижимали к себе детей. Мужчины хмурились:

— Чем такие горькие мучения — лучше смерть!

В ту зиму степь полнилась слухами. По юртам поползли новые диковинные вести. Из Забайкалья в Монголию перекочевало много богатых бурят. Они говорили, что русские араты сбросили своих ноенов, ханов и даже Белого царя с плеч, как старый халат, и сами решили править страной.

— Обожгутся! — смеясь, сказал ноен Бато-Сурун. — Если детеныш слона ослабеет, разве детеныш мыши его опередит? Если ослабеют правители, разве их осилят простые скотоводы?

По сопкам гулял ветер, стонали пади. Старые люди качали головами — недобрая зима!

Молодая Советская республика дралась за Дальний Восток, тесня к морю многотысячные армии интервентов и белых. Отброшенный на линию главной магистрали Сибирской железной дороги, доживал последние дни бутафорский «верховный правитель» адмирал Колчак. Как грибы, вырастали на израненной стране десятки земских, коалиционных, полуяпонских и других правительств, а красные войска неутомимо, через тайгу, через степь, через реки и горы, продвигались вперед, освобождая Дальний Восток от контрреволюции.

Бурной зимой двадцатого года последние остатки белых банд начали просачиваться в Монголию. Шли в одиночку, шли группами, отрядами, затаив в груди ожесточенную ярость побежденных. Все аилы встречали их недоверием.

И вдруг пришельцы насторожились, — с далекого востока потянуло знакомым духом. Там, отступивший из России, скликал свое воронье ворон — генерал-лейтенант барон Унгерн фон-Штернберг.

Мункхо хмурился, — жизнь стала беспокойная. Отдыхал, только глядя на детей. Совсем бросил ходить к соседям, — кроме горя ничего не увидишь!

Мункхо больше всего на свете ценил покой и душевную безмятежность, за что был хвалим и ноеном и ламой.

Глядя на Санжу, сына Мункхо, красивого, высокого мальчика, Самбу-лама говорил отцу:

— Скоро сын станет большим. Отдай его в наш монастырь — Умзашри, Мункхо! Во всем вашем роду нет ни одного ламы. Нехорошо! Отдай, — будет кому молиться за вас Будде! — и тихо добавлял: — Начинается неспокойная жизнь. Идут нехорошие слухи!

— Верно говорит, — вздыхал Мункхо, — ни одного ламы в роду нет! Брат покинул монастырь, и поистине беспокойные идут времена. Пусть мальчик будет святым!

Счастлив народ Монголии. Желтая вера крепка в стране, — третья часть мужского населения не тратит времени на бренное мирское житье, носит через плечо красный орохомчи, молится за грехи мирян и живет их трудами. Через баньди [1] — первую ступень монашества — ребенок вступает в святую общину лам.

Сложив руки крестом, Санжа сидел про-

---

[1] Баньди — послушник.

тив первенствующего ламы. Лама говорил длинно и непонятно. Потом начал спрашивать Санжу:

— Не принадлежите ли вы к призрачным существам? Не принадлежите ли вы к исповедующим еретическое учение? Не существо ли вы вездесущее? Не двуполый ли вы? Имеется ли дозволение от хана на вступление в монастырь?

Только на сороковом вопросе лама кончил. Обряд тянулся долго. Санжа устал. Душистые свечи курились синими струйками. Пахло остро и пряно, как степной полынью.

Лама спросил строго:

— О, ты! Радуешься ли своему пострижению?

— Радуюсь!

Руки, голову и ноги Санжи обмыли водой, на плечо положили священную одежду.

— Да утвердится основа его спасения! — раздался голос ламы. — Да достигнет он конца жизни, шествуя по пути добродетели. Да будет он сполна причастен обетам монашества во всех и каждом из своих перерождений.

Обряд был окончен. Санжа стал ламой.

В назначенный день с утра начались хлопоты. Машик плакала, — хоть и святым будет, а все-таки жаль — уходит сын. Знала, что Санжа, как и сотни других мальчиков, должен будет обслуживать какого-нибудь богатого ламу, чтобы заработать право на учение.

Мункхо навьючил на верблюда пожитки сына. Собрались араты — провожать мальчика. За десять лет своей жизни Санжа впервые видел такое внимание и почет. Товарищи-однолетки принесли ему в подарок деньги, а старый лама

их аила подарил потрепанные тибетские книги, по которым когда-то учился сам.

Когда мальчика усадили на коня, позади отца, все старики по обычаю заплакали. Соседи провожали Санжу до полдороги, дальше мать с отцом повезли сына одни.

Медленно тянулась эта тревожная зима. Опять, как десять лет назад, еще до отделения Монголии от Китая, по аилам стали ездить чиновники — собирать старые долги. Унгерн стягивал на восток отброшенных из Сибири белых. Аилы настороженно косились на незнакомых круглоглазых пришельцев из забайкальских степей.

— Что за жизнь без родины, — удивлялись старики. — Зачем идут в чужие кочевья?

— Говорят, их выгнали с родины, — сказал Доржи, выколачивая трубку.

— Как же плох должен быть человек, — отозвался сосед, — чтоб своя же степь его выгнала! Ведь и волка не гонит — кормит родная земля.

— Не ноены ли это русские, про которых говорили буряты? Может, за помощью идут? — заметил молодой арат, — надо спросить ламу!

— Зачем идут к нам, — Доржи обернулся: — как будто мало у нас своих князей? Со своими-то не знаем, что делать!

Старики, как всегда, зашикали на него и продолжали курить молча.

2

Горькие складки лежат на сухом лице Токсом-ламы. Тяжко одиночество, когда жизнь подходит к концу. Особенно тяжело, когда сам отойдешь от тех, чьи мысли текли с твоими по

одному руслу, и направишь коня по другому пути. Тогда возврата нет.

Долгие годы Токсом-ламы протекали в единомыслии с теми, кто теперь объявил его отступником. Потом пришла зрелая пора сомнений. И вот теперь, когда бела и светла голова, раздумье привело его к горькой истине: нет святости, нет благочестия! Старинные обычаи монахов затоптаны в грязь, в монастырях — разврат, мерзость и бесчестье. Служа молебны, он видел под маской святости похотливые черты ожирелых бездельников; глядя на маленьких монастырских шаби — учеников, знал, что дети превратятся в орудие гнусного, даже Буддой проклятого, порока. И вот на старости лет крепко закрыл за собой монастырскую дверь — ушел, стал отступником.

Ярко горит огонь в очаге. Закипает чай. В юрту назойливо вползает холод зимнего вечера. Медленно покачиваясь, шевеля губами и четками, Токсом-лама щурит глаза на огонь. Доржи смотрит на своего учителя, наставника и друга, на того, чью мудрость чтут даже ламы покинутого им монастыря.

У Токсом-ламы и в гневе тихий голос:

— Отвезли в монастырь, говоришь ты? Ну, что ж! Развратят, искалечат и этого... Почему ж так быстро?

— Учитель, — тихо сказал Доржи, — день назначил высокий лама — Сынге-хубилган [1].

Токсом-лама поднял острые глаза:

— Хубилган! Развратник, пьяница! Сколько он запоганил детей, отданных под его «свя-

---

[1] Хубилган — святой, душа которого, по верованиям ламистов, после его смерти возрождается снова в каком-нибудь младенце.

тую» власть! А знаешь ли ты, что Будда, первоучитель наш, смертным грехом объявил мужеложство?

Доржи напряженно хмурил лоб, путаясь в противоречивых мыслях:

— Но, учитель, почему же тогда говорят, что святой хубилган не может совершать недозволенное, что если кто-нибудь видит хубилгана в греховном образе, то причиной тому лишь греховность самого видящего?

Токсом-лама тихо засмеялся и взял с лежанки овчину:

— Смотри! Человек знает, что зима холодна, и готовит себе одежду. Наши хубилганы знают, что живут недостойно, и заранее прячутся за выдуманные истины. Я стар, — Токсом-лама провел рукой по морщинистому лицу, — моя кожа выдублена годами, солнцем и постом, но и она краснеет перед деяниями наших ученых, «святых» лам.

— Но, учитель! Ведь хубилганы несут в себе святость своих прежних жизней?

— Ну, хорошо, слушай! Вот умирает от старости хубилган, — Тоском-лама говорил терпеливо и медленно. Так же спокойно много лет назад он учил маленького мальчика Доржи премудростям тибетской грамоты, — ...умирает хубилган. Его одряхлевшее тело уже не может носить в себе божественный дух. Его святость ищет нового воплощения, и после смерти старика его дух вселяется в тело ребенка. Так?

— Так! Так учит Будда! Ребенок чист перед богом и достоин быть вместилищем святого.

Учитель усмехнулся, устремив на Доржи спокойные глаза мудреца:

— Не Будда, ученик мой, учит этому, а — наши ламы!

— Но разве в словах святых лам не воля Будды? — порывисто спросил Доржи, — разве дух святого не вселяется в детское тело?

— Ложь! Трижды ложь! Подумай сам. Умер хубилган. Собираются его друзья, прихлебатели, богачи, которых он поддерживал своими проповедями. Совещаются — где найти осчастливленное святым тело младенца-мальчика? Где найти следующее перерождение умершего хубилгана? Собирают золото, серебро, шелка, — без подарков ведь ничего не сделаешь. Идут к другому хубилгану. Спрашивают: куда снизошел дух святого? Какое тело он избрал вместилищем своей святости? Что же должен ответить этот хубилган, — а подарки ценные, — что же может он сказать?

— Учитель! — Доржи ошеломленно провел по лбу рукой. — Ты отрицаешь то, чему мы, монголы, верим сотни лет! Ты призываешь на свою голову гнев богов!

— Голова моя не при чем, она работает до сих пор неплохо...

— Но бог, учитель... — у Доржи нехватало голоса и слов.

— А бог у меня в сердце. — Старик распахнул халат и обнажил сухую темную грудь: — Вот здесь!

— Но разве святые хубилганы не говорят его языком?

— Слушай дальше! Что может, говорю я, ответить хубилган, даже если не погряз он окончательно в разврате и лжи и в нем тлеет хоть искорка совести. Если он скажет: «я не знаю», — он не хубилган, не святой, ибо свя-

той должен все знать! Вот он и начинает возиться с именами недавно родившихся мальчиков, выбирает семью и указывает на ребенка: «вот он!» Часто это — сын его же родственника. Почему же не увеличить свое богатство?

Старик засмеялся и покачал головой. Доржи сидел, ни словом не решаясь перебить его. Токсом-лама забыл про ученика. Он рассуждал сам с собой.

— ...Ребенку показывают колокольчик, четки, чашу покойного хубилгана. Он тянется к ним. Тогда ламы торжественно говорят: «Узнал свое! Вспомнил!» Ну, и конец! — Глубоко задумавшись, Токсом-лама продолжал: — Бедное маленькое существо! Да покажите же вы мне того ребенка, который не потянется за блестящей вещью?

Доржи налил чаю учителю. Пристально глядя в огонь, старик опять зашевелил строгими, сухими губами:

— Ах ты, бедный маленький верблюжонок, потерявший мать! Сколько глупостей вобьют в твою бритую головенку!

— Послушай! — крикнул Доржи. Он забыл, что перед ним старший. — Ты говоришь страшные вещи! А как же великий из великих, первоучитель, Будда Багван? Или ты думаешь, что и он не был святым? — и, выкрикнув, ждал, до боли сжав руки.

Тяжелей камня упало на него молчание. Старик низко опустил голову. Четки быстрее зашевелились в тонких пальцах.

— Будда Багван. Что мы знаем о нем? Говорят, тысячу шестьдесят лет копил свои заслуги перед верой Будда Багван, пока не стал святым...

— Почему ты говоришь — «говорят»? Поче-

му не скажешь прямо? — жадно добивался Доржи твердого слова от Токсом-ламы, но старик не слушал его.

— ...а теперь, чтобы стать святым, достаточно, если признают тебя в детстве святым ханжи, невежды, развратники...

— Учитель, но ведь сказано, что святого ничто не может осквернить. Все, что он делает, необходимо и обладает таинственной силой.

Токсом-лама жестко рассмеялся:

— О! Большой силой! Его тусклый взгляд, его жратва, которую он, перепившись, выблевывает. Эх, ты, опоенная лошадь! — усмехнулся он. — Высока ли сила у Югодзыр-ламы, окруженного свитой грязных бездельников? Высока ли сила у Гендун-хутухты, проводящего время в бессмысленной болтовне и разврате? Отвечай мне!

Доржи молчал. Многое, что и прежде мелькало в мыслях, казалось страшным, облеченное в неумолимые слова.

— Святые? Скажи об этом неграмотному арату, — продолжал Токсом-лама, — пусть он тебе поверит... не я! Или ты думаешь, что святые, пьющие вино и проводящие ночи с женами мирян и проститутками, делают это не так, как все люди?

Вспомнив гордый лоб Машик, Доржи сказал задумчиво:

— Наши жены не считают грехом спать с ламой. Они верят, что и на них переносится частица его святости...

Токсом-лама низко опустил голову.

— Но почему же ты не борешься? — тихо спросил Доржи. — Почему ты копишь эту боль в себе?

Старик очнулся от глубокого раздумья.

— Чудак! Невозможно бороться за веру при алчных чиновниках, при засильи ожирелых монахов. — И, вглядываясь вдаль, точно видел сквозь стены юрты далекие горизонты, затерянные в ночи, он добавил: — А сейчас, когда степь поднимается, — и ни к чему она... Опоздала...

— Какая степь поднимается? О чем ты? — удивился Доржи.

Но старый лама опять ушел в раздумье, как барсук в нору. Его губы тихо шептали непонятные слова:

— ...поднимается степь... не удержишь!..

Доржи пожал плечами. Тихо, чтобы не обеспокоить старика, поднялся и вышел из юрты.

В степи начинался серый, мутный рассвет.

НА СЕВЕР

1

Так трудной дорогой кочевий, век за веком Монголия тащила тяжелый груз угнетения. Густая сеть торговли, несколько сотен жадных чиновников, военные гарнизоны и буддизм — вот путы, которыми так надежно был связан монгольский народ. Казалось, что этому не будет конца.

Но с тысяча девятьсот четвертого года подул другой ветер. Белый царь, потерпев поражение на море, протянул руки к суше. Царские дипломаты и военные крепко занялись монгольским вопросом.

Восемнадцатого февраля тысяча девятьсот одиннадцатого года произошел почти бескров-

ный переворот. Под тайным покровительством Белого царя монгольские князья восстали против китайских мандаринов. Китайский гарнизон в Урге сдался восставшим монголам. Толстый амбань [1], подобрав шелковые полы и изменив своей неторопливой походке, сбежал в российское императорское консульство. Монгольские ханы и князья, заняв место амбаня, выпустили воззвание к народу, объявив, что «...наша Монголия издавна была независимой страной. Мы снова хотим править по нашим прежним обычаям. С этого времени иностранцы больше не могут принимать участия в наших политических делах, отныне мы отрешаем от должностей всех китайцев и манчжуров, занимающих как высокие, так и незначительные места...

...что же касается купцов и частных жителей, то к какой бы национальности они ни принадлежали, они могут спокойно оставаться на своих местах и продолжать работу. И пусть невинные жители ничего не боятся...»

Весть эта разнеслась по степям. Шестнадцатого декабря тысяча девятьсот двенадцатого года глава монгольской церкви Богдо-Геген был провозглашен великим ханом отделившейся от Китая автономной Монголии и принял титул «многими возведенного», а к осени тринадцатого года вся страна принесла «многими возведенному» присягу на верность. Великий лама и великий пьяница, Богдо-Геген стал править страной жесткими руками высших лам и ханов.

Араты кочевали, платили подати, вязли в новых долгах, слушались лам, каждую свою невзгоду принимали как наказание за грехи, со-

---

[1] А м б а н ь — крупное должностное лицо.

вершенные в одну из прошлых своих жизней. Мандарины и купцы рассуждали о происшедшем, учились на своих промахах и копили силы.

Но случилось неожиданное. В России произошла революция. Новые, алые знамена, как огромные цветы, расцвели за русской границей. Их яркие отблески заиграли на монгольской степи, тревожа ее правителей.

Это было неожиданно и опасно, — красный цвет виден издалека! Он может вскружить голову и терпеливому арату.

Русские купцы в Монголии, когда-то опиравшиеся на авторитет и поддержку своего правительства, растерялись, а из далекого голубого Приморья на материк потянулись новые нити. В монгольских степях запахло морем и порохом. Японский империализм, поставив перед собой задачу глубокого проникновения на материк, выдвинул идею панмонголизма и бросил в азиатские пространства лозунг: «Азия для азиатов».

Япония учла обстановку. В Пекине стояла у власти японофильская группа «Клуб Аньфу». Провозгласив необходимость создания в Урге твердой власти для борьбы с «идущей из России заразой большевизма», «Клуб Аньфу» по совету японцев ввел в Монголию свои войска.

В сентябре девятнадцатого года, внимая словам испуганных ханов и звону сабель иноземных солдат, Богдо подписал петицию о переходе Внешней Монголии снова в подданство Пекина. Казалось, японские руки дотянулись до монгольских степей. Фактическим хозяином страны стал командующий войсками, ярый японофил, генерал Сюй-Ши-Чжен.

Но зима девятнадцатого года принесла неприятность и победителям. В результате борьбы различных группировок в Китае пал и лишился всякого значения японофильский «Клуб Аньфу». Япония больше не нуждалась в генерале Сюе, который к тому времени потерял всякий политический вес. «Страна восходящего солнца» отвернулась от неудачливого генерала и стала искать новой базы для проведения своей дальневосточной политики.

Такой базой стала позднее русская белогвардейщина: вместо «маленького Сюя» японцы сделали ставку на генерал-лейтенанта барона Унгерна фон-Штернберг. Китайские солдаты считали дни до возвращения на родину к детям, женам и рисовым полям.

Однако Сюй решил самостоятельно продолжать начатое по указке японцев дело вторичного покорения Монголии. В глубоком молчании выслушали отряды приказ командования о продолжении войны. Рисовые поля опять отодвинулись на долгие месяцы, а черная рука земледельца опять взялась за непривычную и надоевшую винтовку. Напуганный событиями в России, генерал наградил тех, кто помог ему снова прибрать к рукам Монголию, и, выделив некоторых, плюнул в лицо остальным, стал издеваться даже над духовенством и дворянством. Купцы потребовали уплаты всех старых долгов с процентами, наросшими за десять лет автономии, налоги были увеличены вдвое, с обнищалых юрт драли последние кошмы.

Жизнь стала нестерпимым гнетом. Каждый новый месяц был тяжелее прошедшего. В городах, в аилах, в горах и степях поднялся ропот. Были недовольны все, кроме клики избран-

ных. Спорили, беспокоились в лавках, в монастырях, в богатых домах; спорили, волновались даже в узорчатом дворце Богдо, и, что всего опаснее, волновались самые низшие, те, которые, поднявшись, должны были сбросить с плеч всех, кто был выше, — начинали роптать араты.

2

Встревоженным ульем гудела Урга, придавленная тяжелой лапой иноземной военщины. Кипела страхом, злобой, слухами. Не ласковый покой лета, а острый свист пуль принес Монголии май двадцатого года.

Дом князя Навана, один из богатейших в Урге, притих. Хозяин встревожен. Лениво обмахиваясь веером, княгиня удивленно глядит на сдвинутые брови мужа. Наглухо закрыв двери, занавесив окна, князь тихо и долго беседует с приехавшим издалека другом Чимит-Бейсе.

— Где же обещания? Где почет дворянству? Военные грабят аратов, а мы живем, как нищие! — князь сердито отодвинул чашку из фарфора, тонкого, как лепесток цветка. — Издеваются над Богдо-Гегеном, над всеми нами!

— Я слышал, что в тот же день, как Монголия вновь пошла под покровительство Пекина, Богдо неслыханно унизили? — спросил гость.

Сухие щеки князя вспыхнули. Он оглянулся на дверь и приблизил лицо к другу:

— Да разве дело только в Богдо! Нас всех с грязью смешали! Я сам видел все своими глазами. Рано утром от Зеленого дворца до южной части города выстроились войска. От дома министерства финансов до центральных ворот Желтого дворца Богдо стояли солдаты. Дали залп.

Показался Богдо, окруженный своей охраной, прошел сквозь строй и переступил порог дворца через левый вход, а не через центральные ворота!

— Позор! — прошелестели губы гостя.

— Генерал Сюй подъехал на автомобиле к центральным воротам. На лакированных носилках во дворец внесли портрет президента, и генерал вошел вслед за ним.

Чимит-Бейсе придвинулся к Наван-Хану:

— Ну!

— Мой рот стыдится передать тебе о нашем позоре... Войдя во дворец, генерал приказал поставить портрет президента на главный престол Богдо и сам стал рядом. Богдо трижды поклонился портрету и лишь потом получил из рук генерала печать. А вслед за ним поклонились все монгольские князья.

— Позор! — гость сжал кулаки.

— Позор! — горько повторил за ним хозяин. Оба низко потупили головы.

— А слышал ли ты? — Чимит-Бейсе нагнулся к хозяину, — что с Онона за свободу Монголии идет белый генерал? Сам Мерген-Ван собирает для него войско.

Хозяин поднял глаза:

— А кто за ним, брат?

Еще ниже нагнувшись, Чимит-Бейсе прошептал:

— Большая сила, Наван-Хан; мой язык не солжет тебе, если скажет, что люди генерала стреляют из японских карабинов.

В те же дни монгольская типография печатала приказы иноземцев. Сжав белые, крепкие зубы, наборщик Сухэ-Батор шептал товарищу:

— Князья и старшие ламы продались... Армия была готова к борьбе, но вместо того, чтобы вести на бой, министры повели монголов на продажу!

Сухэ-Батор был молод и горяч. Даже шопот его был громок:

— Терпеть дальше нельзя. Надо действовать. До каких пор будут араты только плакать и гнуть спину!

Вечерами в юрте, среди своих, он повторял:

— Мы должны начать действовать против чужеземцев. Мы должны разъяснить монголам, в какую кабалу ведут их китайские начальники и наши князья.

Старый арат сказал озабоченно:

— Нельзя начинать, не спросясь ноена...

Его перебил молодой типографский рабочий:

— Можно! Что спрашивать! Когда ноены и ханы продавали Монголию, разве они спрашивали народ? А сейчас, разве они думают о нас? Кто покрупнее, тот и устроился. Им неплохо и теперь.

— Во дворце Тушету-Хана открыли публичный дом, — отозвался третий, — там ищи князей! Втихомолку ругают китайцев, а сами дни и ночи пьянствуют с китайскими проститутками!

— От китайцев все зло! — нахмурясь, сказал старик, — перебить их всех...

Сухэ-Батор вполголоса разговаривал о чем-то с рабочим. Услышав старика, он оборвал на полуслове и, оглянувшись, замотал головой:

— Неправда, аха [1], неправда!

---

[1] Аха — старший брат. Почтительное обращение.

Старый арат удивленно поднял нависшие веки. Сухэ-Батор встал. В юрте стало тихо.

— В степи бывают хмурые дни, но разве можно забыть, что есть солнце? В Китае столько людей, сколько шерстинок в кошме, но разве все они наши враги? Китайский крестьянин и монгольский скотовод одно ярмо тянут...

— А зачем идут в нашу страну? — выкрикнул старик.

— А зачем ты всю жизнь лучших баранов хану отдаешь? Гонят их, вот и идут... — Сухэ-Батор взволнованно пригладил волосы: — Подожди! Придет время, встанут и они. Когда поднимается ветер в степи, вся трава шуметь будет. Китайский солдат хочет на свои поля, а не в монгольские степи. Не ему нужны аратские отары, а вот им... — он кивнул на восток, где раскинулись дворцы ургинской знати. — Им — ханам, князьям, мандаринам! У них одна рука, одно горло, в какую бы одежду они ни одевались и на каком бы языке ни говорили...

— Недаром бывший министр Бадма-Доржи от генерала Сюя титул получил и деньги...

— Слушайте, на востоке появился белый генерал. Обещает свободу Монголии... С ним, говорят, идут народы нашей веры. Даже Япония стоит за него.

— Довольно генералов! — зашумели и заволновались араты... — И желтые и белые — все одинаковы! Зачем белому генералу аратская свобода?!

И опять зазвенел голос Сухэ-Батора:

— Надо действовать! Разбрасывайте листовки, зовите аратов на борьбу! Нельзя больше ждать, сидеть сложа руки...

— Не горячись, Сухэ, — чем же действовать? Где оружие?

— Из России бегут белые. Скупайте у них. Скупайте револьверы, ружья, гранаты. Все, что бьет!.. Нечего больше ждать!

Медленно тянется тревожная безлунная ночь. Улицы вымерли, только копыта разъездов цокают по камням. Дома зарылись во тьму. Зато во дворце Тушету-Хана — свет, пьяные крики. Там веселятся князья, забываясь от оскорблений и тревог в умелых руках китаянок. Огромным черным зверем притаился монастырь.

А на краю города, в маленькой неизвестной юрте, Сухэ-Батор кончает собрание горячим призывом:

— Дадим великую, нерушимую клятву: освободить Монголию от врагов, защитить аратство, уничтожить угнетение или умереть! Не жалеть своей жизни, быть стойкими, сохранять тайну и каждому завербовать десять братьев, преданных делу свободы!

В первые дни монгольской революции на воротах правительственных зданий, на стенах домов, на заборе управления командующего войсками, на священных ламских барабанчиках «хурде» были расклеены рукописные листовки Сухэ-Батора.

Ламы и князья презрительно читали горячие призывные слова, не чуя в них своего будущего приговора и начала новой жизни для трудовой Монголии...

Читали араты, кто не мог — просил соседа. Урга напряглась, почувствовав в себе новую,

еще неведомую силу. Солдаты разгоняли людей и срывали листовки. Разослали шпиков, еще крепче стянули петлю насилия на окровавленном теле города, но никого не нашли.

Сухэ-Батор набирал призывы командования о розыске виновных в мятеже, постановления о реквизиции аратского скота и юрт.

Новая организация быстро росла. Старая юрта Дендыпа, одного из членов организации, у которого обычно собирались, была такой же, как сотни других в Урге. Когда стало опаснее, решили встречаться за городом. Собрания стали проводить на открытом берегу Толы, купаясь и выпасая коней.

Все чаще и чаще говорили о красной России. Мысли всех тянулись на север.

Сухэ-Батор медленно тянул белый, холодный кумыс.

— Надо на север! — настойчиво твердил он. — Там расправим крылья. Ведь добились же своего русские! Не может народ, сам освободившийся от своего гнета, не поддержать нас, ищущих свободы. Скоро нашей партии два года, нас — несколько тысяч. Надо ехать на север, там поднимем головы, оттуда начнем!

Он был самым смелым и ясно видел впереди то, о чем многие товарищи не решались еще и думать.

— Но как же откинуть князей, — сомневался кто-то из стариков. — Ведь из рода в род они правили аратами.

Сухэ-Батор терпеливо объяснял, щуря узкие глаза:

— А почему ты знаешь, что в них действительно течет кровь потомков Чингиса? Сколько за последние годы развелось титулованных

особ. У кого были деньги, тот и покупал себе право на желтые поводья, желтый паланкин. А дети этих тоже будут считать себя аристократами. И много ли дворян в нашей партии!

Каждый знал: на несколько тысяч — ни одного!

Араты спрашивали Сухэ-Батора:

— Как начнем? У нас всего несколько сот винтовок!

— И Тола в своих истоках течет маленькими ручейками. Наберем еще! Начнем борьбу с севера. Помощь получим от красной России. Собой и своим имуществом поможем делу.

Решили послать на север двух товарищей. На месте все выяснить, разузнать, связаться с красными. Бросили жребий. В шапке Сухэ-Батора перепутались несколько скатанных бумажек. Вытащили Очир-Бато и еще один.

Очир-Бато, горячий, двадцатилетний, тряхнул головой, — на спине заболталась черная косица:

— Я готов!

Жали друг другу руки, рисовали планы, как добраться до места, как незаметно выехать из Урги. Разошлись, когда солнце уже садилось. В падях на другом берегу притаился сумрак. Река потемнела и медленно шевелилась в мягких покатых берегах.

Весь следующий день собирали деньги на дорогу товарищам. Очир-Бато зашил в халат документы с полномочиями от Народной партии. Сухэ-Батор отдал ему своего любимого коня.

Два всадника долго крутились по городу, заметая следы. Степь ласково приняла их. Сторонясь проезжей дороги, они пробирались го-

рами, перелесками, падями. Ночи проводили то в незнакомых юртах, то под открытым небом. Боясь погони, по очереди сторожили коней. Спали, чувствуя во сне каждый шорох.

Однажды, уже в конце пути, Очир-Бато привстал в седле, всматриваясь вдаль:

— Солдаты, верхами!

Они рывком повернули коней на запад. Гнали их каблуками, свистом, кнутом. Конь Очир-Бато стал хрипеть, спотыкаться. Рукояткой кнута, закусив губы, всадник гнал, гнал его вперед — уходя от беды. Перевалив через гряду холмов, они отдышались. Очир-Бато потрепал коня по шее:

— Прости, друг! Ничего не поделаешь, борьба!

Хмурым прохладным днем добрались до границы. Из Забайкалья дул холодный ветер, по небу плыли рваные тучи, но дышалось легко и радостно. Остановились у своих. Расседлали замученных коней, — спасибо, товарищи!

И, далеко откинув назад голову, Очир-Бато первый отрезал и откинул в сторону тонкую косичку — знак низшего сословия. Теперь новая жизнь!

3

А Сухэ-Батор метался в Урге. С севера долго не было вестей. Рассылал товарищей по монастырям, по базарам и лавкам — не слышно ли где чего. Наконец, через третьих лиц получили телеграмму: «Наши торговые дела идут хорошо». Так пришла первая радость, подбодрившая, давшая новые силы и волю к борьбе. Члены организации решили встретиться, посоветоваться, как быть дальше.

Собрание проводили, как всегда, на берегу Толы. Караульный подал знак — переменили разговор.

Подскакал офицер с солдатами, увидел пирушку, веселые, молодые лица.

— Кто такие? Для чего собрались? — спросил он, подозрительно оглядев собравшихся.

На смуглом лице Сухэ-Батора приветливо блеснули зубы:

— Пьем, отдыхаем, купаемся. Время жаркое! Может, не откажетесь, уважаемый начальник, выпить кумыса и погулять с нами?

Офицер отпил кумыса и ускакал, а вслед ему потекла песня. Мягко звучал голос молодого Пунцука, одного из лучших певцов Монголии:

«Ягоды и дорогие камни славят горы и леса, породившие их. Храбрый и честный воин славит свой аил... Чиста и пространна прекрасная наша страна, много табунов пасется на ее широкой груди. В непрерывно журчащем источнике нет грязи, в степи, открытой ветрам и солнцу, нет дурного запаха. Будем петь, как ветер поет в ковыльных зарослях, но если отступим от цели своей, омрачатся наши дни и станут глухими песни...»

— Ну, а теперь послушайте песню похуже, — вернулся к делу Намжил.

Нахмурив брови, Сухэ-Батор придвинулся к нему.

— Во дворце творятся странные вещи. Знаю от своего брата, он — в услужении у Жамцо-ламы, а тот вхож к Богдо. За подписью Богдо и его печатью поплыло письмо за море, на восток, с просьбой о помощи! Письмо сейчас у Наван-Хана... Вот! — закончил Намжил, — я думаю, что нам надо торопиться.

Помолчав, Сухэ-Батор поднял глаза:

— Да, время начинать! Если будем выжидать дальше, можем еще новых покровителей-волков дождаться. Часть наших, по-моему, должна выехать на север, часть — остаться здесь — продолжать работу. Решайте!

Опять бросили жребий. Первым вытянул Сухэ-Батор. Он радостно сжал бумажку, посылавшую его в дальний путь. Поднялся, расправил блестящее на солнце тело.

С ним вытянули жребий трое. Стали собираться в дорогу. Деньги на покупку коней, продукты, оружие собрали со всех членов группы. Документы спрятали в рукоятку ташура[1], закрыв отверстие костяной резьбой.

Решили ехать немедля. Ночь провели в пади Богдо-Ула у оседланных коней. Чуть забрезжил рассвет, по-одному съехались к юрте Пунцука, где уже ждала лошадь с вьюком.

— Счастливый путь! — сказал Пунцук и подал им чашу с молоком. — За борьбу ради народа, за дело, которое останется в памяти наших детей и внуков, за новую встречу свободными и радостными! Счастливый путь, братья!

Ответили, по обычаю, и выпили чашу до дна.

В тишине и прохладе на востоке разгоралась заря. Город еще спал. Кони переминались с ноги на ногу, чуя путь, а люди все будто ждали чего-то. Жали руки, перебрасывались словами, но слов нехватало, — расставались со своими близкими и не знали — свидятся ли вновь.

Отъехали от города, остановились. Пришел час расставания.

Сухэ-Батор сказал:

---

[1] Ташур — монгольский кнут.

— Не жалея жизни, до последнего вздоха, друзья, будем бороться за свободу аратов. Уезжая, до глубины своего сердца и мозга я верю в оставшихся. Передайте, братья, наш привет остальным, верным и надежным!

Тихо слушали его горы, степь и товарищи.

Последний раз заглянули друг другу в глаза. Сухэ-Батор повернул коня на север.

Привстав на стременах, Пунцук долго ловил взглядом его стройную фигуру.

Первым шел конь Сухэ-Батора. Широкие ноздри лошади вбирали прохладу утра, свежие запахи горных трав. Ехали тихо, каждый со своими мыслями, храня в сердце общую ненависть и любовь. Поднялись вверх по реке Сельбе, между крутыми горными склонами. Переходили с тропинки на тропинку, заметали следы. Около дороги увидели сверток. Сухэ-Батор поднял, развернул. В свертке нашли пшено, чай, соль и сухой творог. Все обрадовались хорошей примете, — это степь дает нам, борцам за аратскую свободу, нашу родную пищу!

Сухэ-Батор щедрой горстью разбросал по земле часть съестного, совершая обряд угощения природы. Остальное привьючили к седлу и, стегнув лошадей, бодрее поехали дальше, на север!

МОНАСТЫРЬ

— Скорее бы шел учитель! Досмерти надоело твердить одно и то же! — Баир потянулся и туже завязал рваный поясок халата. Непонятные тибетские тексты трудно давались Баиру. В тринадцать лет он знал меньше, чем Санжа в одиннадцать.

— Попадет, если не выучишь! — удивился Санжа.

Он добросовестно вызубривал все уроки.

— Ну и пускай. Я привык, — Баир, смеясь, похлопал себя по худому заду.

Ламята сидели в жаркой келье Гомбоджап-ламы. Зубрили тибетские молитвы, не понимая, наизусть со слов учителя.

— Если пробраться через лес за горы, можно найти нашу юрту, — размечтался Санжа, — дома сейчас кумыс, молоко... Отец что-нибудь привез из города!

— Да тебе что горевать! — ухмыльнулся Баир. — Тебя-то, любимого ученика, учитель жалеет. Он и на ночь-то тебя одного не оставляет, учит разным премудростям на своей белой кошме, хоть ты и маленький!

Баир захохотал.

Санжа спрятал оттененные глубокими синяками глаза. Красивое, в мать, лицо налилось багровым румянцем, но товарищ вдруг громко залопотал урок — в келью входил учитель.

Лама одобрительно кивнул и тяжело опустился на кошмы.

Отерев потное лицо, сказал Баиру:

— Дай воды!

— Учитель! А что за Богдо-Улом? — указав на горные склоны, спросил после некоторого молчания Санжа.

Лама перевел дух.

— Там огромный святой город — Урга.

Капли пота, как растопленный жир, сбегали со лба Гомбоджапа. Баир со скуки считал их, а Санжа жадно слушал рассказ — любил слушать обо всем, что лежало за этими горными вершинами.

— ...В Урге два великих монастыря: Гандан и Дзун-Хуре. Есть храм. В нем Будда вышиной в десять человек. В Урге дворец — обитель владыки веры Богдо-Гегена...

Разлегшись на кошмах, лама обмахивался от жары и мух.

По тропинке зашлепали шаги, и, размахивая поясом, в келью почти вбежал сухой юркий Жамьян-лама. Он недавно вернулся из долгой поездки. Солнце, ветер обожгли и подсушили лицо.

— Гомбоджап-лама! Хутухта зовет, иди скорей! Хурал будет, новости есть!

Гомбоджап повел глазами на Жамьяна, быстро поднялся, оправил орохомчи. Из дверей кивнул мальчикам — отдыхайте! Ламы торопливо вышли и направились по каменистой тропинке вниз.

Мальчики вскочили.

— Пойдем на ту вершину! — Санжа показал на освещенную закатом скалу, но Баир скорчил гримасу и схватился за живот:

— Есть хочу, как волк. Раздобыть бы чего-нибудь!

Санжа выглянул за дверь — фигура учителя затерялась в толпе других лам. Он торопливо запустил руку в китайский полированный сундучок и передал товарищу горсть сухого сыра:

— Много нельзя. Заметит — рассердится, пойдем!

Скалы обрывались крутыми склонами. Захватывало дух, но ребята, как ящерицы, карабкались по камням. Санжа любил сидеть высоко на скале. Монастырь был виден сверху как на ладони. Ослепительно белели храмы. Между

ними лежало озеро, круглое и гладкое как зеркало, а вокруг него лепились серые пятна ламских келий. В ограде главного храма блестела позолотой огромная юрта настоятеля монастыря — хутухты Умзашри

На густой зелени кустов яркими бабочками пламенели легкие цветы шиповника. Царапая руки, ребята обрывали незрелые ягоды и жевали кислую кожицу, выплевывая твердые волосатые семена. Огромные лиственницы тонули вершинами в густом море хвои. Где-то близко-близко свистела птица.

Вдруг Баир дернул Санжу за рукав:

— Смотри! Всадник!

Привстав и закрыв глаза от солнца, они смотрели вниз.

— Лошадь-то вся в пене, видно дал ей жару!

— А куда он?

— Видишь, тоже к храму. Пойдем вниз, мне надо еще убрать келью, — позвал Баира Санжа.

Цепляясь за выступы камней, мальчики быстро скатились в темнеющую долину. Последние лучи заходящего солнца еще золотили поросшую курчавым кустарником каменистую грудь сопки.

В храме курились тонкие свечки. Желтый свет бродил по бронзовым скользким лицам. Блестели неживые лики бурханов. Пахло воском, сыростью старых стен и распаренными сытыми телами, — только высшее ламство вошло сегодня в храм. Ламы расселись красными изваяниями по рангу. Гомбоджап сидел шестым вправо от Умзашри-ламы. Его всегда сонное

лицо сейчас было оживлено, он внимательно ловил тихие слова настоятеля:

— ...именем великого ламы, первого из первых, создателя и носителя божественных законов, обращаю к вам мои правдивые слова. Слушайте, решайте!

Тихо потрескивали свечи. Ламы напряженно слушали. Слова были медленны и обрядны, но непонятно, зачем сейчас звучали они здесь...

— ...сказано в Древнем слове: «На дальнем севере благоухает рай. Божества обитают в нем во дворцах из драгоценных янтарей и яхонтов...»

Ламы терпеливо ждали, когда скажет Умзашри, зачем в неурочное время собрал их сюда, и привычно пропускали мимо ушей знакомые слова обряда. Но вот речь еще замедлилась, и ламы насторожились:

— ...предсказано в Древнем слове: «Великий лама, обитающий в этом северном рае, выйдет на борьбу с врагами веры. Повсеместно распространится тогда наша святая религия...»

— К чему это он ведет? — толстый Намдак-лама наклонился к Гомбоджапу.

Гомбоджап пожал плечами, не сводя пытливых глаз с настоятеля:

— Туманен след, но когда-нибудь приводит к цели. Послушаем!

Старый лама Намсарай строго взглянул на шепчущихся, и лицо Гомбоджапа опять стало почтительно спокойным.

— «...Верхом на золотистом коне, коротким копьем, выбрасывающим пламя, он пронзит сердца антибуддистов и соберет в одно друзей веры».

Легкий шорох прошел по рядам

— «...Его лошади побьют лошадей грешников. Близко время, когда владыка веры снова займет место, подобающее ему!»

Голос Умзашри окреп. Настоятель скользнул взглядом по напряженным ожидающим лицам и, привстав, бросил в толпу:

— Слушайте! Неспокойно время. Близится борьба, и нам — хранителям веры — надо знать свое место!

Сказал и снова опустился на подушки. Теперь ждал он, обводя глазами зашевелившихся лам. Храм шуршал от шопота. Руки Умзашри перебирали дорогие четки, а глаза медленно переходили с лица на лицо, оценивая, сравнивая, соображая.

— А чего хочет учитель? Каков его путь? — раздался почтительный голос Жамьян-ламы.

Жамьян застыл в благочестивом размышлении, только глаза настойчиво впивались в сухие губы Умзашри, ожидая ответа. Собравшиеся опять притихли, но настоятель обвел глазами лам и, остановив взор на Жамьяне, ответил вопросом, отчеканивая слова:

— Учитель хочет знать, что думаете вы.

Храм зашумел, как разбуженный улей. Тревога прорвалась и развязала языки.

— Мы знаем — с востока идет белый генерал. И сюда дошли его воззвания...

По рукам поплыла измятая бумажка, исчезала, вновь появлялась и плыла дальше, к Умзашри-ламе. Старик разгладил ее и положил рядом:

— Ну, что же знаете вы еще? — Его голос утонул в шуме.

— ...знаем, что обещает освободить Монго-

лию, но не говорится ли, что неизвестная дорога ведет в ад?

— ...и что неведомый хозяин — волк? — подхватил Гомбоджап.

Намсарай обернулся к нему.

— Молчи ты! Лучше кости сломать, чем оставить веру без защиты. — И увидев, как нахмурились на окрик брови Гомбоджапа, добавил: — Сам не блюдешь обычаев! Не мог оставить в покое порученного тебе ребенка, пока не войдет в возраст. Мало, что ли, тебе старших учеников?

Гомбоджап вскочил:

— На себя посмотри! Жрешь баранье сало, как пес, и развратничаешь с женщинами!

Ламы заволновались. Кое-кто засмеялся.

— Молчите! Опомнитесь! — крикнул старик-лама, сидевший рядом с Умзашри, и видно было, как глаза его наполнились гневом.

— Сказано: у одежды — ворот, у человека — старший! Подождем, посмотрим, что решит настоятель.

Откуда-то из последних рядов донеслось:

— Всем надо решать! Не такое теперь время, чтобы итти, не подумав! Рубишь дерево — береги ноги!

Умзашри-лама быстро обернулся на крик. Его губы сжались, но внезапный топот коня по каменным плитам прервал спор. Умзашри прислушался, знаком подозвал любимца-ученика, стоявшего за его спиной, и тихо сказал:

— Узнай, не с востока ли?

Двери распахнулись. С трудом переступая запыленными ногами, вошел человек, низко поклонился ламам и, найдя старшего, подошел к нему.

— Оттуда? Я послал тебе навстречу людей, — тихо сказал Умзашри, пытливо вглядываясь в лицо гостя.

Тот вынул из гутула письмо и подал его настоятелю. Наклонившись к самому уху, прошептал:

— Готовьтесь! События идут.

Умзашри-лама торопливо вскрыл конверт, — на узких листках китайской бумаги сверху вниз струились монгольские письмена. Он читал, поднимая и опуская тяжелые веки. На некоторых строках задерживался. И дочитав до конца, оглядел притихших лам:

— Слушайте!.. С севера потянутся в страну святого буддизма противобожественные идеи. Наступит тяжелое время...

Гость стоял, прислонившись к колонне. Его глаза скользили по напряженным лицам лам, ради которых он гнал коня сюда, в монастырь, из далекой ставки генерала. Он всматривался в желтые лица, пытаясь предугадать ответ, который он унесет обратно за Кентейские хребты. Его рука чуть играла чесучевым поясом.

Настоятель бросал ламам короткие фразы:

— ...погонят лам в солдаты, уничтожат религию, обратят ханов и ноенов в собак, гегенов — в рабов, хутухт — в пастухов! Храмы потеряют свои стены. Есть старые уставы и законы, но никто не будет им подчиняться. Есть книги, но некому будет их читать. Знайте это!

В храме тихо. Ламы не шелохнутся, слушая из уст настоятеля речь белого генерала.

— ...только единая сила веры и оружия может задержать поток неверия и зла. Монголия будет стеной, о которую разобьются усилия врагов веры. Скоро в ветрах и громах придет с востока сила сторонников Великой Монголии.

Она объединит все монгольские племена против идущей с запада заразы неверия. Встречайте!

Умзашри кончил. Глаза гостя еще внимательней оглядывали людей.

В толпе нарастал шопот.

— ...Но ведь и генерал Сюй обещал защиту от красной России.

— От пожара спасаться наводнением. Неужели нет иных путей?

— Зачем продали автономию? Были бы свободны теперь...

Ламы шептались. А гость спокойно оглядывал разгоряченные лица и думал: у лам нет выбора, ответ будет хорош!

Намдак-лама сказал своим густым голосом:

— Зачем же согласились? Сам Богдо-Геген был против упразднения автономии...

— ...а теперь он терпит унижения от генерала Сюя! — вставил Жамьян.

Наклонившись вперед, Умзашри слушал, наблюдал за лицами лам. Его голос врезался в гущу спора и направил его в нужное гонцу русло.

— То, что было, — отдалилось! То, что будет, — близко! Думайте, решайте! — В словах его была угроза.

Гомбоджап тихо прошептал Жамьяну: «Пора!» — поднялся, оправил орохомчи и громко сказал:

— Полно! Не Сюю охранить нашу страну от гибельного посева неверия, — и опять опустился на подушки.

В углах рта Умзашри мелькнула удовлетворенная улыбка. Лед был пробит. Жамьян, внимательно следивший за лицом настоятеля, тоже поднялся:

— Конечно! Нужна опора. Внутри самого на-

рода — рознь. Дерево с подгнившим корнем не может выдержать бурю.

И кто-то сзади отозвался:

— Иных путей нет!

Гость отер пыльный лоб. Он был спокоен. Тогда поднялся Умзашри, лицо его было опять непроницаемо важно.

— Я думаю, — сказал он, — и пусть это будет для вас заповедью, что надо ждать и готовиться. А сейчас — отдых. Ночь требует сна.

И добавил, удержав в глазах улыбку:

— Пусть хорошие видения будут радовать вас до восхода солнца!

Тихо шелестя одеждами, ламы поднимались, кланялись настоятелю и, накинув на голову орохомчи, один за другим тонули в глубоком мраке ночи.

— Останься! — шепнул Умзашри гостю.

Храм опустел. Потрескивая, догорали тонкие красные свечи. Умзашри достал из-за пояса письмо генерала и, перечитывая его, рукой указал гостю на место против себя. Тот устало опустился на подушки. Кончив читать, лама поднял тяжелые веки. Он был похож на собаку, идущую по новому следу. С лица сошла маска благочестия, — оно стало хитрым и настороженным. Холодные змеиные глаза пытливо вглядывались в лицо посланца, пытаясь прочесть мысли того, кем был он послан.

— Богдо-Геген немощен, — тихо говорил гость, — и мы не знаем — не спелся ли он во всем с китайским командованием. Те, кто стоит за генералом, могут подумать и о новом владыке Монголии...

Гонец в упор посмотрел в лицо настоятеля.

Лама опустил на глаза тяжелые веки. Его руки мягко легли на колени, отложив в сторону янтарные четки. Старый монах знал, как легко выдают руки волнение человека.

Овладев собой, Умзашри взглянул на гостя. Тот ничего не прочел на его спокойном лице.

— Порядок установлен веками, — сказал лама, покачав головой. — Только хубилган Чжебдзун-Дамба хутухты правит Монголией. Для аратов он — бог, и слово его, хоть и суетное, — свято! Надо действовать его именем, а там... посмотрим! Неплохо было бы заранее вырвать его из рук Сюя. — Он достал агатовую табакерку и протянул ее гонцу.

Гость вдохнул душистую пыль китайской дунзы.

— А что думает генерал, и каким он видит будущее? — спросил Умзашри.

— О, великая задача! — гость приблизил лицо к свече. В его зрачках заплясали красные блики.

Лама слушал внимательно, взвешивая каждое слово.

— ...страна должна стать стеной против красной заразы, которая разносится по воздуху, как чума. Нельзя допускать, чтобы арат хлебнул вина революции.

Умзашри утвердительно кивнул. Если и были сомнения в правильности мыслей того человека, который мог стать союзником, то под этими словами лама безоговорочно ставил свою печать. И он, постигший все тонкости дипломатии Востока, оценил обнаженную откровенность этих слов.

— Но твердо ли верит генерал в то, что мы сможем устоять против внешнего нажима? — спросил он.

— С того дня, как пал «Клуб Аньфу», — пе-

ребил его гонец, — генерал Сюй остался без поддержки заморской страны, и если она решила делать теперь ставку на другого, то чего ради нам раздумывать. Если даже придется прибегнуть к влиянию страны восходящего солнца, то и это приемлемее, чем красные...

Лама с любопытством поглядел на гонца и сказал:

— Ты легко управляешь словами и понятиями...

Гонец надменно усмехнулся.

— Я — бурят. Я кончил университет в Петербурге. Я удостоился иметь аудиенцию у императора Николая второго.

Свеча потухла. Умзашри откинулся назад, взял другую свечу, горевшую в медном подсвечнике перед статуей Будды, и поставил ее на лакированный столик между собой и гостем. Будда ушел в темноту, а лица людей выступили из мрака. Бурят достал из гутула трубку, прикурил от свечи и затянулся:

— ...а теперь императора нет, и честь, оказанная мне, ничего не стоит! Решай скорее, — сказал он, не выпуская трубки изо рта. — Не полагайтесь до бесконечности на терпение и незлобивость аратства!

— Монголия не Россия, — усмехнулся Умзашри, — не в этом дело!

— Именно в этом. Азия — для азиатов, вот наше знамя.

Гость бродил по храму, Умзашри зорко следил за его движениями.

— ...Будущее России темно. Поднимается стадо, понимаешь — стадо, — он остановился перед Умзашри, и гримаса злобы исказила его жесткое лицо, — стадо, жадное, огромное!..

Лама встал и положил руку на плечо гостя:

— Скажи генералу, что я согласен. Монастырь будет ждать его.

Бурят перевел дыхание. Глаза его радостно заблестели. Собеседники понимающе смотрели друг на друга.

— Прости, учитель! — дрогнул голос в темноте.

Лама резко обернулся, схватив за руку бурята. Потом отпустил его, сказал успокоенно:

— Это — шаби, мой ученик!

— Прости, учитель, дозволь сказать!

— Говори!

— Когда я был с твоим письмом в Гандане[1], в Урге, я слышал, будто новая красная власть в России не теснит ни одного народа, каждому дает жить по своим обычаям и делает так, чтоб всем жилось лучше...

— Что?! Откуда, от кого ты это слышал? — хриплым шопотом спросил Умзашри. Он быстро подвел юношу к огню и пристально смотрел в испуганное лицо.

Бурят закусил губу, его лицо стало настороженным и злым.

— От кого?

НОВЫЙ СЛЕД

1

«Условие.

Мы, нижеподписавшиеся, выдали настоящую расписку начальнику Азиатской конной дивизии в нижеследующем:

---

[1] Гандан — самый крупный монастырь Монголии, в Урге.

1. Мы поступаем добровольцами на военную службу в Азиатскую конную дивизию на срок в четыре месяца, считая со дня заключения сего условия.

2. Обязуемся сражаться как в Монголии, так и за ее пределами, где будет указано и с кем прикажут.

3. Обязуемся беспрекословно подчиняться назначенному над нами начальнику — командиру.

4. До окончания срока службы не имеем права просить увольнения.

5. При поступлении на службу получаем подъемные по шестидесяти рублей золотом или биллонным серебром, по существующему курсу — сто двадцать три рубля сорок копеек.

6. Размер жалованья должен определяться в зависимости от исполняемых обязанностей, а именно: всадникам — пятнадцать рублей, командирам — восемнадцать...»

Араты молча слушали расценки на людей. Сидели полукругом в тени юрты. Один, в середине, медленно читал, неумело разглаживая рукой листок. Длинные зубчики монгольских строчек были плохо видны на потертой бумаге.

«7. В случае похода, или в какое-либо другое тяжелое время, мы не имеем права заявлять претензий...»

Араты переглянулись. Кое-кто покачал головой.

«8. В случае смерти кого-либо из нас в боях или от ранений, полученных в боях, наши законные наследники или лица, бывшие на нашем иждивении, вправе получить пособие в размере трехсот рублей золотом...»

— А кто это пишет? — раздались голоса.

— Генерал-лейтенант барон Унгерн, — с трудом произнес читавший и опустил листок.

Доржи достал трубку из гутула и сказал, усмехаясь:

— Что ж! Радуйтесь! Белый генерал все-таки ценит аратскую жизнь в триста рублей, а чиновники за пять рублей недоимки шкуру спускают.

— Ну, как пойдешь с неизвестным начальником? — старик пожал плечами.

Араты с недоверием глядели на измятую бумагу.

Доржи поднялся и, уходя, посоветовал:

— Спрячьте подальше! Узнают — убьют и трехсот рублей не дадут! — Он засмеялся и, покачав головой, ушел в юрту.

В этот тревожный год в дом Доржи пришла большая радость. Впервые за много лет у жены отяжелел живот, и Доржи был счастлив. Худенькая Цивильма стала похожа на большой плод на тонком стебле. Соседи радовались вместе с Доржи: ребенок — благословение богов! Доржи сам собирал аргал, сгонял овец — берег жену. Но глаза Цивильмы казались непонятно большими от синих кругов. В то лето в их кочевьях было много солнца и мало трав. Далеко уходить не решались, — уж очень тревожное время! И перебивались кое-как, подтягивая туже пояса.

Запасы в юртах были на исходе, к людям и стадам подбирался голод.

Из Урги приходили страшные слухи о бездействии князей, бесчинствах иноземной военщины. С востока надвигался белый генерал, звал к борьбе, рассылал воззвания и сеял новую тревогу.

От каждой новой вести Мункхо вздыхал:

— Да что же это такое? Будет когда-нибудь спокойная жизнь арату или уже никогда?

Однажды ранним утром, в прохладном полумраке юрты, Доржи долго рассматривал обострившееся лицо жены. Цивильма спала, запрокинув голову. Тугой живот натягивал полы халата. Ребенку было уже шесть месяцев[1]. Доржи улыбнулся. Осторожно поднялся, чтобы не будить жены, и пошел к брату — просить коня и арбу. Решил ехать к приятелю за Богдоульские горы — поохотиться. Сушеное мясо и в жару можно было довезти до аила.

Вечером он уехал, обещая вернуться к концу месяца.

Листок с условиями барона решили по совету Доржи спрятать подальше, рвать его не стали, — кто знает, какие еще времена придут, — и зарыли там же, где читали, заботливо притоптав ногами холмик.

Над аилом плыли жаркие безводные дни. Дул горячий сухой ветер. Песок вырвался из ослабевших травяных пут, туманил воздух, хрустел на зубах. В один особенно бурный день ветер развеял старательно притоптанный холмик над письмом Унгерна.

За юртой Доржи начиналась степь, и туда, в ласковую тень, часто собирались играть дети. Однажды, раскапывая мышиную нору, они нашли сухую пыльную бумагу — редкость в степи. Ровные полоски строчек озадачили ребят. Бумагу разорвали на части и с восторгом бросились в аил — показать матерям находку. Но,

---

[1] В Монголии возраст ребенка определяется с момента его зачатия.

добежав, остановились, сжимая клочки в руках.

Матери и отцы с испуганными лицами сбились в стадо, как овцы. Перед ними стоял ноен. В аил въезжали солдаты. Ребята прижались к юрте, и лошади прошли рядом. Хорошенькая Денсима заметила на себе пристальный взгляд одного из солдат, испугавшись, бросила зажатый в руке листок и метнулась в толпу, к матери.

Ветер подхватил бумагу, помчал и прижал ее к крупу коня. Всадник обернулся, хотел сбросить листок, но случайно его глаза скользнули по строчкам. Он прищурился, жадно схватил бумагу, пробежал отрывки фраз, подъехал к офицеру, что-то сказал ему и подал листок.

Офицер прочел первые строки воззвания барона и молча поднял глаза на ноена. Тот выступил вперед, его лицо выражало страх и готовность. Офицер, сжав зубы, ударил его кулаком по голове и, ткнув в лицо бумажкой, закричал:

— Откуда? Кто принес в аил?

Ноен сжался, как собака. Машинально хотел поправить сломанное павлинье перо, повисшее тряпкой на шляпе, но офицер вторым ударом сбил с него шляпу и, нагнувшись с коня, прохрипел:

— Читай! Я спрашиваю, кто принес в твой аил эту бумагу?

Тогда ноен обернулся к замершим аратам и посмотрел в их испуганные напряженные глаза. В тишине было слышно тяжелое людское дыхание.

Ноен шагнул в толпу, вытащил за руку плачущую Денсиму. Ударил ее по щеке и сунул ей бумагу:

— Где взяла?

Девочка, всхлипывая, показала рукой в степь, за юрту Доржи:

— Там!.. Играли... Нашли в земле...

Ноен оттолкнул девочку. Закрыв Денсиме рот, мать втащила ее обратно в толпу. Офицер двинул коня на аратов. Люди подались перед копытами.

— Кто принес?

Араты качали головами:

— Не знаем, господин!

Офицер усмехнулся, похлопывая ташуром по ноге. Обернулся к ноену:

— Все ли здесь?

Ноен открыл рот, но вдруг лицо его прояснилось:

— Не все! Нет одного, бывшего ламы Доржи! — Взявшись за стремя, он просительно отвел офицерского коня в сторону. Араты переглянулись, прислушались к разговору, но до них долетали только отдельные слова:

— ...самовольно ушел из монастыря... хорошо грамотный... неспокойный...

Тогда Цивильма выбралась из толпы. Поддерживая обеими руками живот, побежала в юрту и, задыхаясь, бросилась на кошмы.

Скоро послышались шум, голоса, конский топот. Настежь распахнув дверь, в юрту вошли ноен и солдаты, за ними теснилась толпа. Оттолкнув Цивильму, солдаты разбросали постель, Цивильма охнула и, держась за живот, откинулась к стене. Перерыв вещи, содрав со стен войлок, они ушли, оставив юрту похожей на огромный ободранный скелет.

К ночи у Цивильмы начались схватки. Ее перенесли в юрту Мункхо.

— Как не досмотрела? Зачем пустила одну! — укоряли муж и соседи плачущую Машик.

Уложив Цивильму на постель, начали читать молитвы, заклинания. Вынули сбереженные к празднику свечи и затеплили перед богами, чтобы жертвами отвести беду. Красные отсветы заплясали по равнодушным бронзовым лицам. Стоны Цивильмы наполняли бессонную тревожную ночь. В углу во сне всхлипывала Денсима.

К утру привезли ламу-лекаря. Увидя темное лицо Цивильмы, он нахмурился и оставил в юрте в помощь себе двух женщин.

В тот день в аиле было тихо. Только ветер свистел, нанося облака песчаной пыли. Толпясь у юрты, люди слушали жалобы и стоны Цивильмы и отрывистые приказания лекаря. Вечером все стихло. И когда старик вышел, по его походке, по сгорбленной спине, усталым глазам араты почувствовали смерть.

Все живые ночевали у соседей, — мертвый должен был остаться один. Послали за ламой Самбу. Были плохие приметы: женщина умерла с открытыми глазами, руки ее свела судорога, — она звала за собой живых. Лама справил все обряды, чтобы отвести несчастья от юрты покойницы.

С похоронами торопились, — слишком жаркие были дни. В назначенный день и час завернутое в дабу[1] тело вынесли в степь. Провожали всем аилом. Горячий ветер подхватывал и уносил последнюю молитву:

«Ты, преданный владыке смерти, не отнимай

[1] Даба — китайская плотная материя.

от нас добродетели и счастья, соблаговоли пожаловать их нам. Сам ты уходи туда, вдаль!»

Вместе с молитвой по степи чуть слышно растекался тяжелый запах тления, и по следам людей в степь шли псы.

2

Из других аилов ползли вести, что белый генерал движется к Урге. Боясь слухов, боясь новых тревог, Мункхо решил уйти на восточные кочевья. Долго советовался с соседом Джадамбой:

— Говорят, там — поспокойнее. Нет сил так жить! — он горько покачал головой. — Вернется брат, что я ему скажу? Спросит, что ж не уберег Цивильму? Ну кто же знал, что она пойдет в юрту?

Джадамба утешал:

— Что делать? Значит — такая судьба!

— Судьба-то судьба...

— А скоро ли вернется Доржи?

Мункхо вздохнул:

— Наверное, скоро! Но все равно укочую. Буду ждать его в степи. Здесь пропадешь! Успокоится когда-нибудь жизнь, — вернусь обратно.

Вышли в ночь, как только на степь упала роса.

3

Доржи возвращался по северной дороге. Ехал чуть заметными тропинками, чтобы укрыться от разъездов, которые отбирали и мухлюк, и кладь, и коня.

Охота была удачна. Доржи торопился и ра-

довался, думая о том, как сытая Цивильма будет кормить его ребенка. Уйдя в себя, он не глядел на дорогу и поднял голову, только услышав близкое цоканье копыт. Навстречу ехали верховые. Они остановили коней. Приглядевшись, Доржи узнал монголов и тоже остановился. Первый всадник с красивым смуглым лицом подъехал к нему. Одет он был просто, но, видимо, собрался в дальний путь, — к седлу была приторочена кладь. Они присмотрелись друг к другу, поздоровались и решили отдохнуть вместе. Тем, кто опасался ехать большим трактом, друг друга бояться было нечего.

Пустили коней. Развели костер. В распадке было тихо. Дым медленно уходил в синеву. Когда напились чаю, молодой раскурил и протянул Доржи трубку.

— Кто ты, куда едешь? — спросил он его.

Доржи ответил и спросил в свою очередь незнакомца:

— А твое имя? Куда лежит твой путь?

Незнакомец подумал немного, обвел глазами горизонт и, опять остановив их на ободранном халате Доржи, сказал:

— Сухэ-Батор!

Доржи улыбнулся:

— Я знаю тебя! Мой брат Мункхо вел с тобой караван из Калгана. Дома много о тебе говорил.

Сухэ-Батор рассмеялся:

— Тогда и я тебя знаю! Ты из монастыря ушел.

Его спутники теснее придвинулись к Доржи. Недоверие ушло, — все были араты.

— Куда едете? — спросил Доржи.

Вместо ответа Сухэ-Батор спросил его:

— Знаешь, что в Урге творится?

— Не только в Урге. И худонский арат покой потерял! — ответил Доржи, нахмурившись.

— До каких пор вы будете терпеть это? — сказал Сухэ-Батор.

— А что делать? — Доржи поднял глаза. Его лицо опять стало хмурым и усталым.

— Бороться! Бороться за родину! За свободу... Создавать новую жизнь...

Доржи слушал непривычно сильную речь, впитывая ее, как пересохшая земля дождевую влагу. Все сомнения, с которыми он ушел из монастыря, все вопросы, поднятые в нем бессильным протестом Токсом-ламы, вся горечь, которой он нахлебался в родном аиле, подступили теперь к самому сердцу. Слова Сухэ-Батора были понятнее и ближе всего, чему его учили с детства. Он, уже почти седой человек, слушал, как шаби-ученик, молодого смуглолицего арата. Это было то, чего он долгие годы напрасно искал у своего учителя-ламы.

Уже вечерело, когда они снова подошли к коням. Доржи вынул из мухлюка несколько кусков сухого мяса и отдал их Сухэ-Батору:

— Возьмите на дорогу. Хоть этим хочу помочь вам, начинающим великое дело!

Его всегда спокойный голос дрожал, и глаза блестели. Сухэ-Батор обнял Доржи:

— Помоги собой! Иди с нами на север!

Доржи задумался:

— Нет, не могу теперь! Дома голодная жена. Ребенка ждет. Ей везу! — он кивнул на мясо. — Может быть, позже найду ваш след. — И, покачав головой, после некоторого молчания добавил: — Да и как итти такой необычной дорогой, не посоветовавшись с учителем.

— Ну, брат! — Сухэ-Батор выпрямился. — Ты еще, видно, в тумане бродишь. Я перед тобой раскрыл свое сердце, а не перед монастырскими тунеядцами.

— Мой учитель не помешает нам в вашем деле, — сказал Доржи. — Он сам потерял свой путь.

— Он потерял, а мы нашли! У нас — ясная дорога, — ответил Сухэ-Батор и взял Доржи за плечо, — будешь с нами или нет, но ламе ни слова. Обещаешь, брат?

Доржи задумался, потом открыто посмотрел на Сухэ-Батора:

— Обещаю! Пусть ваш путь будет удачен и наша встреча — близка.

Когда они еще раз обнялись и разошлись, вечер до краев наполнил распадок мраком, и из черной глубины неба медленно всплывали звезды.

4

Доржи приехал к вечеру. Вместо родных его встретил черный круг от юрты Мункхо. Ничего не понимая, Доржи пришел в свою юрту, увидел холодный очаг, сложенные в кучу вещи. Все покрыла густым слоем пыль. В юрте пахло бедой. Доржи бросился к соседям и, увидев их лица, остановился. Женщины быстро заговорили, боясь его вопросов:

— Брат укочевал, ждет тебя в дороге...

— А жена? — быстро спросил Доржи, но они молча отвели лица. Поднялся только старик-хозяин. Обняв Доржи за плечи, он вывел его из юрты и показал рукой на степь:

— Там! Такая, значит, судьба...

Араты собрались толпой и, перешептываясь, глядели на сгорбленную спину Доржи. Наперекор обычаям, человек пошел к мертвым, в степь, туда, куда показал старик. Доржи шарил глазами по сухой земле и, когда уже не стало видно аила, его глаза нашли. Он быстро подошел и отшатнулся, закрыв лицо руками, — в то лето псы были голодны. Запах трупа ударил ему в голову. Горячая степь, синее небо, безглазый оскал Цивильмы — все закружилось перед ним, и он упал.

Когда он очнулся, солнце уже село. Кругом темнела степь, поднялся ветер, трепал сухие травы и волосы Цивильмы. Почувствовав страх перед надвигающимся мраком, одиночеством и трупом, человек побежал, с трудом волоча ослабевшие ноги, — ему казалось, что степи не будет конца.

Впереди ожидавшей его толпы аратов стоял Самбу-лама и читал молитвы. Люди не решились заговорить с Доржи, — так страшно было его лицо. Он молча прошел мимо них, ногой отшвырнул привезенное мясо и стал прилаживать седло на усталую конскую спину. Араты зашептались. Самбу-лама, перебирая четки, подошел к Доржи:

— Не грусти! Все предопределено. Кто знает — не в этом ли возмездие за прошлые грехи...

Доржи резко обернулся к ламе. Впервые в жизни, стиснув зубы, плюнул ему в лицо самым страшным проклятием кочевника:

— Изойди ты кровью с молитвами и богом твоим!

У ламы остановились глаза и пальцы. Доржи вскочил в седло, ударил коня ташуром.

Конь рванулся и, послушный поводу, помчал на север.

Не заехав к ламе-учителю, Доржи скакал по следам того, кто был теперь ему ближе, — по следам Сухэ-Батора.

УНГЕРН ИДЕТ НА УРГУ

1

На хорошие обещания, как мухи на сахар, к барону Унгерну липли ханы и князья, таща за собой аратов. В каждой юрте ноены славословили белого генерала.

Унгерн лисьей поступью подошел к Урге, и тринадцатого сентября тысяча девятьсот двадцатого года по «святому городу» грохнули орудия генерала.

Ургу охватила паника. Два дня громили город унгерновские пушки. Горожане, как кроты, закапывались в землю, прятались в ямах, подвалах. Солдаты генерала Сюя нехотя, беспорядочно отстреливались с берегов Сельбы. Нередко командиры плетьми выгоняли солдат на защиту города, — война на чужой земле, за чужое добро оставалась для китайского крестьянина чужим делом.

Ургинские собаки наелись досыта. Мяса было в изобилии: никто не убирал трупов, валявшихся по окраинам города, хотя долина смерти — Золотая Колыбель [1] — была под боком. Медленно разлагаясь в теплые сентябрьские

[1] Монголы не закапывают трупов умерших в землю. С соответствующими обрядами тела выносят в специально отведенную долину — Золотая Колыбель, — где и оставляют на съедение собакам и птицам.

дни, они отравляли воздух. Тяжелый запах мертвечины навис над Ургой.

Из Маймачена — резиденции генерала Сюя — пришел приказ: арестовать Богдо-Гегена. Офицеры за руку вывели Богдо из дворца, усадили в автомобиль и увезли.

Это было страшнее выстрелов, и весть о таком святотатстве быстро распространилась по городу. Охваченный паникой Сюй готовился к бегству. Урга должна была пасть, но внезапно орудия смолкли, и Унгерн отступил на восток, оставив город удивленному Сюй-Ши-Чжену: у генерала нехватило патронов.

Оправившись, Сюй-Ши-Чжен ответил на унгерновские пули новыми грабежами и насилиями. Урга превратилась в огромный застенок. Нарастала новая волна возмущения. Город кипел гневом. А слухи все росли и росли.

— Слышали? — шептались монгольские чиновники. — Го-Сун-Лин, правая рука генерала Сюя, отдал приказ: отбирать у аратов юрты на военные надобности. Уже угнали сотни тысяч верблюдов и лошадей.

— Этак скоро доберутся и до наших дворов!

Прикрыв орохомчи шепчущий рот, лама передавал другому страшную новость:

— В монастыре Дамба-Доржи собрали лам и окрестных аратов и, обвинив их в сочувствии белому генералу, расстреляли. Монастырь разграбили...

Полузакрытые веки слушавшего дрогнули. Прячась по закоулкам, он бегом понес неслыханную весть в монастырь.

Гандан содрогнулся от известия об аресте Богдо. Старшие ламы, ученые и чтимые старики, поехали в Маймачен просить о помиловании.

На полдороге разъезд отобрал у них коней; тогда ламы продолжали путь пешком. Но они вернулись ни с чем, — Го-Сун-Лин отказался освободить главу Монголии — «живого бога» Богдо-Гегена.

В самой Урге свершилось неслыханное кощунство: выстрелами осквернили священный молебен в Дзунхурене, и достойные ламы, бросив богослужение, разбежались по юртам, путаясь в своих орохомчи.

Разоруженные монгольские солдаты глухо роптали:

— Зачем пустили иноземцев? Продали нас князья... Угоняют теперь наш скот, грабят наши юрты...

— У моего отца около самой Урги отняли лошадь с седлом...

— Насилуют наших жен, сестер...

— Говорят, семь человек с каким-то Сухэ-Батором тайком уехали на север. Оттуда хотят выступить против генералов!

— Э! Что они могут сделать? Не по земле ли они ходят, и не по одной ли голове у каждого...

И хоть запретил Го-Сун-Лин жителям Урги выходить за город, араты бежали, обокраденные, прибитые. Ламы крепче запирались в монастырях, на ухо передавая шедшие из худонских монастырей вести:

— Идет белый барон Унгерн! Ждите и готовьтесь!

2

— Было это в пятнадцатом году на Карпатах. Являюсь я к командиру полка. Представился; все, как полагается. Полковник Снегов,

усталый такой человек, уже немолодой, из кадровых. Чорт его знает, где он сейчас. Поговорил со мной немного и направил в распоряжение третьей роты — она в резерве была, — а при ней — полевой околоток. — «Познакомьтесь, — говорит полковник, — с поручиком бароном Унгерном. Любопытный, говорит, экземпляр! Он, — говорит, — вас и устроит и угостит для первого знакомства...»

Коренастый, давно небритый доктор в черном романовском полушубке зябко повел плечами:

— Фу, чорт, как дует! Подкиньте, поручик, дерьма этого в печку!

Поручик подбросил в красную глотку печи горсть аргала. За войлочными стенами юрты бесился ветер. Трепал оборванную кошму. Печь накалилась докрасна, но по краям юрты было холодно.

— Ну, рассказывайте, доктор!

Доктор неторопливо прикурил от огня папиросу, придвинулся ближе и продолжал:

— ...Являюсь я в роту. В околотке — развал. Фельдшер где-то с бабами носится. Дал распоряжение — приготовить комнату. Спрашиваю: «где поручик Унгерн?» — «Очевидно, — отвечают, — в окопах!» Пойду, думаю, к нему. Дали провожатого. Ходами сообщения добрался до передовой линии. Показали: Унгерн лежит животом к брустверу, с винтовкой. Постреливает, не торопясь. Повернулся ко мне, кивнул и опять за винтовку. Сам — измятый, грязный. Фуражка рядом валялась. Ну, не фуражка, а прямо сальный блин какой-то!

Ветер хлопнул кошмой. От стены потянуло холодом. Поручик выругался и встал.

— Куда? — удивился доктор.

— Надоело! Пойду, привяжу кошму!

Доктор усмехнулся:

— Нервы, нервы у вас, поручик! Я вам на ночь бромчику дам. Охота вам выходить в такую бурю!

Поручик передернул плечами и вышел. Ночь ударила в лицо ревом, колким снегом и песком.

Лагерь утонул в буране, лишь изредка в глубине ночи мигал короткий свет, — открывалась дверь чьей-нибудь юрты. Поручик пошел по стенке. Нащупал и стал крепить кошму. Руки леденели на ветру, он несколько раз грел дыханием окоченевшие пальцы. Кончив, втянул голову в плечи и, зажмурясь, побрел обратно. Вместе с ним в юрту ворвался ветер и снег.

— Ну и ночка! — сказал поручик, стряхивая снег с полушубка. — Неужели дозоры в степи — без палаток?

— Да ведь там монголы! — отозвался доктор, — для них мороз — пустяки! Поразительный народ!

Поручик снова уселся к печке. После бури юрта казалась почти жаркой.

— А где вы еще встречались с генералом? — спросил он доктора, рассеянно глядя в огонь.

— Ну, хоть тогда-то он еще не был генералом — протянул доктор. Оба переглянулись.

Объявленный теперь атаманом Семеновым вне закона, начальник Азиатской конной дивизии барон Унгерн фон-Штернберг незадолго до этого был этим же атаманом произведен в генерал-лейтенанты.

— Да-с! Не был, — продолжал доктор. — А встретил я его вот еще при каких обстоятельст-

вах. Стояли мы в каком-то маленьком местечке, не помню даже названия. Все тихо, и вдруг, знаете ли, зовут меня на почту. Ну, прихожу я на почту и вижу — на столе человек лежит. Поверите ли, как котлета, изрублен. Ни о какой помощи и речи, конечно, нет. Ну, котлета, форменная котлета! Оказалось: барон телеграмму пошел подать. Сам всегда ходил — драки с солдатами затевать любил очень. А кончались эти драки... — доктор замялся. — Ну, вот слушайте! Написал телеграмму. Чинуша, говорят, посмотрел и видит — стоит задрипанный казачишка. А Унгерн, знаете ли, всегда в очень неавантажном виде ходил. Ну, чинуша и отодвинул телеграмму, — подождешь, дескать, любезный! Унгерн ни слова не сказал — подал опять...

Поручик усмехнулся.

— ...А тот опять телеграмму отодвинул и возится с какими-то бумажками. Унгерн сунул ему листок под самый нос. Тут чинуша, царство ему небесное, может первый раз в жизни и власть-то показать захотел, вскочил, открыл рот — заорать, а барон сгреб его одной рукой, выхватил шашку да, ни слова не говоря, и изрубил. Да так изрубил, что котлету, говорю вам, сущую котлету сделал!..

— Вот тебе и показал власть! — поручик свистнул и добавил уже серьезно: — Генерал, говорят, и со своими строг.

— Н-да! — протянул доктор. — А вы, поручик, до Монголии барона не знали? — он повернулся к собеседнику.

— Нет, я был у генерала Дутова... Скажите, доктор, — поручик вскинул на доктора молодые глуповатые глаза. — Как по-вашему — не слиш-

ком ли уж мы возимся с этими желтолицыми, а?

— Вы про японцев? — переспросил доктор.

Поручик кивнул.

— Эх, батенька... База нужна, милый, база! На одних расстрелах и карательных экспедициях далеко не уедешь. Ну, а у японцев свои планы.

— Что ж, по-вашему, мы будем драться с красными по указке Токио? — задорно перебил поручик.

— Не петушитесь, батенька, не петушитесь, — усмехнулся доктор. — Если интересы совпадают, так по указке самого чорта пойдешь...

— Позвольте, — возмутился поручик. — Как совпадают? Мы боремся за единую неделимую...

— Старо! — доктор махнул рукой. — Надо будет, так и поделить придется. Не ради же светлых глаз барона они нам помогают? Я слышал, уже и договоренность есть. Приморье им отдадим, вероятно.

Поручик хотел что-то сказать, но прислушался и вскочил, откинув в сторону полушубок. За ним поднялся доктор.

В юрту опять ворвался клуб снега и ветра. Быстрым шагом вошел высокий, тонкий, со слишком светлыми волчьими глазами человек. Скинул с плеч бурку, запорошенную снегом, и подошел к печке. За ним вошли полковник Резухин, трое монголов и четвертый, одетый в мех.

Алый шелковый халат Унгерна пламенел среди темных халатов и гимнастерок. Носил он его постоянно, чтоб издали быть видным войскам. На

ярком шелку еще бесцветней казалась маленькая белесая голова эстляндского барона.

На плечах Унгерна светлели потертые погоны, на груди — георгий, полученный от Врангеля, в войсках которого служил барон в империалистическую войну.

Унгерн, отогревая, потирал руки. Небритые скулы поросли светлой щетиной, густые рыжеватые усы оттаяли и повисли.

Все отряхивались, сбрасывая с плеч липкий мокрый снег. Блеснул белозубой улыбкой баргинец Лупсан — командующий монгольскими войсками, правая рука Унгерна. Вынул трубку молодой бурят Жигмит — любимец барона. Резухин разделся и молча вытирал мокрое лицо платком.

Тибетский лама, гибкий и хитрый, как лиса, откинул орохомчи и, блестя бритой головой, подошел к одетому в черный бараний тулуп человеку. Тонкие пальцы ламы расстегнули тяжелый меховой воротник тулупа. Открылось лицо с опухшими веками. Освободившись от тяжелого меха, капитан японской армии Иосихара поклонился ламе и со свистом втянул в себя воздух.

Поручик поставил к печке маленький китайский столик, положил бумагу, карандаши. Генерал кивнул и жестом пригласил всех на кошмы.

Первым тяжело опустился полковник, за ним привычно подогнули ноги монголы и капитан.

Унгерн опустился последним, подвинул к себе столик и обвел глазами сидящих:

— Итак — завтра на Ургу.

Он говорил тихо, отрывистыми и резкими фразами:

— Все военные операции с китайцами надо закончить в последнем зимнем месяце...

Поручик закашлялся. Белесые глаза барона выжидающе остановились на нем.

— Простите, ваше превосходительство, но как это по-русски?

— Пора бы знать, поручик, — резко бросил барон и нахмурил светлые брови. — Пора бы знать государственные названия месяцев. — И продолжал еще отрывистей: — Из всех монгольских и русских войск один полк оставить на месте, на охрану запасов армии. И еще один полк остается на месте. После взятия Урги он пойдет на Чойрен.

Жигмит шопотом переводил баргинцу и ламе слова начальника. Резухин взял со столика бумагу и прикидывал потребное количество патронов. Лама привычно перебирал воздух, как четки.

Иосихара сидел неподвижно, прямой и угловатый, с покрасневшим от мороза носом. Японец с трудом дышал, шумно втягивая воздух. Его раздражал этот жесткий воздух, так не похожий на влажные приморские ветры родины, и ему было холодно даже в юрте. Но, сдержав неприятную дрожь, он еще больше выпрямил спину и перевел на барона полузакрытые глаза.

— А как относительно Богдо-Гегена? — твердо чеканя русские слова и с трудом произнося букву «л», спросил Иосихара.

Барон склонился к японцу:

— Сейчас, капитан! — Потом выпрямился и повысил голос: — Прошу вашего внимания!

Резухин опустил листок. Обращение было

непривычным. Унгерн стал говорить медленно, разделяя слова.

— Один полк, поведете его вы, — барон указал на баргинца и ламу. — С вами поедет... Кондо... — барон повернулся к Иосихара.

Хлюпнув носом, японец кивнул. Не спуская глаз с барона, монголы выслушали перевод и утвердительно склонили головы.

— Один полк пойдет по южному склону Богдо-Ула в монастырь Умзашри, оттуда через Богдо-Ула подберется ночью к Зеленому дворцу Богдо-Хана...

Унгерн медленно и вразумительно тянул слова, постукивая пальцем по лакированному столику:

— ...подойдете к Зеленому дворцу Богдо-Хана, налетом вырвете его святейшество из-под охраны китайцев и доставите его в монастырь.

Сказал и обвел глазами свой штаб. План был дерзок. Лупсан, Жигмит и тибетский лама переглянулись и понимающе кивнули головами, но их темные лица остались невозмутимыми. Иосихара блеснул золотозубой улыбкой, Унгерн перестал постукивать пальцами и удовлетворенно перевел глаза на русских.

Пораженный Резухин пожал плечами:

— Но, послушай, это распылит наши силы, может нам стоить целого отряда. Да и к чему, собственно, эта авантюра? Ты подумал об этом?

Унгерн криво усмехнулся:

— Не только об этом, но и о том, что полковник Резухин, конечно, не додумается до смысла этой операции и будет задавать идиотские вопросы.

Резухин передернулся. Сквозь обветренный

загар на его щеках проступил багровый румянец.

— Генерал прав, тысячу раз прав, — скрипучим простуженным голосом заговорил Иосихара. — Тот, кто освободит Богдо-Гегена, — японец сквозь зубы вежливо втянул в себя воздух... — тот откроет сер... сердца всех... В его армию придут солдаты, деньги, скот... Все... Ему помогут монастыри. Эта операция совершенно необходима.

— Так! — коротко сказал Лупсан.

Резухин, не поднимая глаз, кивнул головой.

— Решено. — Унгерн говорил опять спокойно и медленно: — Завтра начнем. Два полка — на месте. Один — на Зеленый дворец. Остальные войска, и монгольские и русские, веду на Ургу я. Все.

Поручик подкинул в печь несколько горстей аргала. Монголы легко поднялись и поклонились барону.

— Проверьте все, — коротко сказал Унгерн.

Пригибаясь в дверях, монголы вышли.

Когда за ними закрылась дверь, японец потянулся, сел удобнее и зябко передернул плечами.

— Подкиньте! — бросил Унгерн поручику.

Тот торопливо набил печку последними комьями аргала.

Японец поднялся. Стал ходить по юрте. Унгерн тоже встал и внимательно слушал короткие, рубленые фразы капитана.

— Итак. Скоро Россия...

Потирая маленькие руки, японец подошел к столику и сел на место барона. Унгерн остался стоять, особенно высокий и худой в этой низкой круглой юрте.

— Скоро Россия!

Глядя снизу вверх на барона, Иосихара коротко блеснул золотом зубов:

— Только, я прошу вас, генерал. Без лесной пожар. Жечь деревня, но не лес.

Капитан опять улыбнулся:

— Хороший хозяин должен беречь свой земля!

Японец встал и протянул руку. Унгерн предупредительно нагнулся. Маленький Иосихара похлопал барона по плечу:

— Я доволен вами, генерал. У вас хороший оперейшен... До свиданья! Я ухожу отдыхать.

Он долго возился, укутывая шею шерстяным кашне, застегивая крючки.

Улыбка стерлась с лица барона, как только за Иосихара захлопнулась дверь, оставив в юрте седую волну холода.

Доктор, сидевший в полумраке у двери, мельком взглянул на лица Резухина и Унгерна и тоже поднялся.

— Разрешите откланяться, ваше превосходительство, — и вышел, крепко запахнув полушубок.

Унгерн пренебрежительно молчал, ковыряя пепел концом стека. Первым заговорил Резухин:

— Послушай, барон. И ты, и я, и другие одинаково рискуем своими головами. У нас — одно дело. Руководство — в твоих руках, но не кажется ли тебе, что грубость по отношению к твоему ближайшему соратнику, да еще в присутствии этих скуластых и этого японского генштабиста, неуместна?

Поручик старательно размешивал аргал и жалел, что не ушел с доктором. Унгерн иронически усмехнулся:

— Сколько вопросов: «Подумал ли?», «Не кажется ли?» — и, помолчав, придвинулся ближе к Резухину. Заговорил спокойно, по-приятельски: — Ты прав. Дело у нас одно. Большое дело, и оно требует от меня твердости и тонкой игры на монгольских вкусах и настроениях, а от вас — сохранения авторитета начальника и полного учета всей обстановки. Чем скорее это дойдет до тебя, тем лучше.

Сыпались искры. В кошмы назойливо стучался ветер. Резухин молчал.

— Дальше, может быть, будет еще сложнее, — добавил Унгерн. — Но иного выхода пока что я не вижу, а игра стоит свеч.

— Стоит-то стоит, да что-то выйдет. Пока что из России нас выбили, — Резухин устало покачал головой.

— Пока что! Пока что? — Унгерн опять нахмурился. — Пока что лучше будет, если пореже будешь прикладываться к бутылке.

Резухин поднялся с кошмы. В упор, с угрозой глянул в светлые холодные глаза барона. И сдал. Сказал спокойно:

— Ну, ладно. Значит, завтра. С рассветом?

Барон опять стал мягким. Встав, он похлопал полковника по плечу:

— До завтра, с богом. А пока давайте отдыхать.

Повернулся к поручику:

— Пришлите мне бурята-ординарца. Спокойной ночи, господа!

Откозыряли. Вышли. Унгерн прикрыл дверь и, медленным усталым шагом вернувшись к печке, лег на кошмы, провел рукой по волосам, небритому лицу. Расстегнул ворот рубашки. Сразу весь потускнел и осунулся. Слушал, как воет

за стеной ветер. Закинув руки за голову, попробовал задремать, но сон не шел. Откуда-то из темных углов памяти вставало детство, морской кадетский корпус, Павловское военное училище. Потом война, казачьи войска, полк под командованием Врангеля... Революция, Восток... От форменки — к шелковому халату монгольского князя... Какой странный путь!

В дверь постучали. Унгерн, словно разбуженный, провел рукой по глазам. Ординарец внес корзину с аргалом.

— Поставь чай. Постели там, — показал барон на угол.

Пока ординарец готовил постель, Унгерн тяжело сел на лакированный столик, сжал руками виски, мучаясь от назойливой головной боли. До рассвета оставалось еще шесть часов. Надо было во что бы то ни стало выспаться.

Он подошел к постели. Размашисто перекрестился:

— Завтра, с богом, начнем!..

ПАРТИЗАНЫ

Год 1920

1

Из порванного гутула вылезал палец, в щель набивались песок и снег. К концу дня нога занемела, и Доржи пошел в соседнюю юрту просить ниток.

Тяжелый ноябрьский ветер хлестал землю. По горизонту притаившимся зверем темнела тайга. Над землей с воем неслись черные тучи.

Доржи приоткрыл дверь. На него пахнуло

густым дымным теплом. Хозяин пригласил его к огню и, сев рядом с гостем, сказал жене:

— Дай ему все, что попросит. Он — из тех, что борются за нашу аратскую жизнь.

Женщина улыбнулась, налила Доржи чаю. Напившись, он попросил иглу с ниткой и, сняв гутул, большими стежками стал пришивать отставший слой подошвы. В юрте было тепло, пахло кислой овчиной, сухо потрескивал аргал. Согревшись, Доржи расстегнул ворот.

— Когда же думаете начать? — спросил его хозяин.

— Начальник знает, — уверенно сказал Доржи, надевая починенный гутул. — Сам видишь, сколько к нам народу идет. Вот соберем людей, оружие...

Хозяин кивнул.

— Идут многие. Знаешь, брат? — он поднял морщинистое лицо, — великое надвигается время, если из дальних краев — каких дальних... идут араты сюда, на чужие кочевья... Ты подумай, ведь раньше за три-четыре уртона[1] откочевывали, только если засуха, голод, ну, какое-нибудь большое бедствие...

— Потому что теперь пришло самое большое бедствие, — перебил его Доржи. — Теперь всю нашу страну хотят на части разорвать...

— Вчера еще двое прикочевали, — сказала сидевшая позади мужа хозяйка.

— Придут, — Доржи хлопнул себя по колену, — вот вспомните меня, много придут. Теперь народ по запаху чует, откуда пахнет волей...

Он поднялся:

— Счастливо вам!

---

[1] Уртон — около 30 километров.

— Передай своим, — сказал хозяин, тоже встав с кошмы, — что у меня есть винтовка и два хороших коня...

— Спасибо, брат! — Доржи, глядя в лицо арату, положил руку ему на плечо. — Береги и винтовку, и коней, и себя. Когда Сухэ-Батор позовет, все пригодится.

Он вышел на улицу. Ветер остервенело хлестал по лицу мелким колким снегом, но Доржи шел, не закрывая шеи и улыбаясь в темноте.

В эту злую, холодную осень он впервые попал на настоящий путь. Его голова, наконец, была спокойна и светла, — все было ясно, все вопросы решены.

Кругом темнели силуэты недавно выросших юрт.

Из труб вылетали искры. В беловатой мгле снега вынырнули черные холмики верблюжьей спины. Горбы были еще с лета упруги и высоки. Глаза Доржи удовлетворенно прищурились, — и эта сила пойдет против жирного лавочника, за того вот арата, который сейчас с ним, Доржи — одним из простых солдат Сухэ-Батора, поделился своим последним куском.

Он размашисто шагал по поселку, и ему вдогонку заливались псы. В темноте, в черной глубине ночи лежала Монголия, родина, подмятая белогвардейской лапой, разграбленная, окровавленная иноземной военщиной. Туда надо было итти. Туда они пойдут, как только мускулы молодой Народной армии набухнут силой. А сзади, на севере, был тыл, — там тянулись новые земли Красной звезды, оттуда шли спокойствие, сила, поддержка.

Доржи вернулся в свою юрту поздно. Они жили там вчетвером, араты из разных аилов,

хошунов и даже аймаков, объединенные общим именем — «народоармейцы». Юрту им дали здешние жители. Когда Доржи пришел, товарищи спали. Он сел на свою кошму и стал снимать гутулы. Толстая подошва не пропускала больше снега, нога была суха.

2

— Надо объехать все пограничные караулы, — сказал Сухэ-Батор, — надо самим вербовать партизан.

Очир-Бато кивнул и провел рукой по голове. До сих пор затылок без косы казался непривычно легким. Как давно уже это было — скачка по степи от разъезда, граница, отброшенная в песок коса, — а прошло с тех пор только четыре месяца. Очир-Бато поднял глаза на начальника, товарища и друга.

Сухэ-Батор говорил, как всегда, увлекательно и горячо, заражая других своей непоколебимой верой в будущее:

— В Маймачене есть наш — китаец-маляр. Через него надо отправить письма в Ургу, к товарищам в подполье...

Старик-арат, сидевший близко к Сухэ-Батору, недоверчиво покачал головой:

— Наверное, уже разъехались давно. В Урге, говорят, теперь и псу дышать нечем.

Сухэ-Батор порывисто вытащил из-за пояса мятый листок бумаги и протянул его старику:

— На̀, прочти.

— Неграмотный.

— Тогда слушай.

Ноздри Сухэ-Батора чуть дрожали, когда он с гордостью, словно рапортуя о победе, читал

сухое, сжатое письмо товарищей из Урги: «За головы Сухэ-Батора и других шести главных обещано по десяти тысяч мексиканских долларов. Арестовано четверо. Одного члена партии пытали три дня и три ночи, но он все же вытерпел и ничего не выдал...»

Сухэ-Батор торжествующе окинул взглядом собрание:

— А вы говорите, что у нас нет людей. А разве каждый такой, — он поднял письмо, — не стоит десятка? — И уже спокойно, взглянув на старика, сказал ему:

— Не сомневайся в своих, а то у самого сил меньше будет.

— Значит, завтра едем? — спросил Очир-Бато.

— Да. Поедем втроем: Донджит, ты и я, — сказал Сухэ-Батор, — остальные останутся здесь. И помните, братья, — повторил он настойчиво, — надо бороться за каждого арата. Каждый приведет с собой других, — из песчинок вырастают гобийские барханы.

Они втроем долго сидели у огня, когда остальные уже разбрелись по юртам.

— Мы поедем в ставку князя Сумуя-Бейсе, — Сухэ-Батор четко излагал товарищам план ближайшей работы, — князь Сумуя когда-то должен был эмигрировать сюда. Уже во времена автономии он имел с китайскими купцами тяжбу. Суд присудил не в его пользу. Он не раз принимал участие в походах против властей. Словом, товарищи, я думаю, что если умело поговорить с князем Сумуя, он может сейчас, — Сухэ-Батор резко поднял голову и подчеркнул последнее слово, — он может сейчас помочь нам и деньгами и людьми в борьбе с чужаками.

— Это будет хорошее дело, Сухэ, — сказал Донджит, потирая руки.

Сухэ-Батор чуть улыбнулся, взглянув на товарища, и добавил мягко и ласково: — Но помни, брат, что «сейчас» это только «сейчас». Если сегодня мы с помощью князей скинем с плеч тех, кто пришел к нам закабалить нашу страну, то завтра, может быть, Сумуя велит дать нам хороших бамбуковых палок за то, что мы не слишком скоро уступим дорогу его паланкину. Помни это, — Сухэ-Батор улыбнулся и встал.

Освещенное снизу отблесками огня, его смуглое лицо казалось бронзовым. Потянувшись, он расправил широкие плечи и, присев на корточки у огня, стал шевелить в очаге аргал. Очир-Бато закурил трубку. Нахмурив брови, Донджит задумался и перебирал обтрепанный конец пояса.

— А вот когда немного окрепнем, немного оправимся, — сказал Сухэ-Батор, — тогда, братья, посмотрим на Восток. Там Унгерн.

— Как воронье на падаль слетелись, — сквозь зубы прошептал Очир-Бато.

— Монголия жива! — громко воскликнул Сухэ-Батор, точно его слышали все юрты, разбросанные по измученной стране. — Монголия жива, она встает...

Увидев горящие глаза товарищей, Сухэ-Батор провел рукой по лбу. Очир-Бато молча протянул ему раскуренную трубку. Сухэ-Батор жадно проглотил дым и продолжал, как всегда, медленно и спокойно:

— Надо постараться попасть в Ургу. Надо, чтобы Пунцук, Доксом и другие партийцы приехали сюда. Сейчас самое важное — мобили-

зация цириков[1]. И потом, — Сухэ-Батор втянул в себя струю дыма, пристально глядя в огонь,— надо начинать агитацию в унгерновских монгольских частях. — Затянувшись, он откинулся глубоко на кошмы. — Мы будем взрывать его армию изнутри.

— А не слишком ли мы тянем? — нетерпеливо сказал Донджит,—хорошо, если бы можно было начать действовать скорее. Если б совсем не допустить Унгерна к Урге.

Сухэ-Батор пожал плечами:

— Спешить нельзя. Мы еще не собрались с силами. И белые, и те, кто с ними, — враги не только наши, но и красной России. Надо предложить Советской стране вместе с нами выступить против Унгерна. Наше обращение, наверное, не останется без ответа. Будет помощь, брат. К тому же надо выждать еще, чем кончится борьба барона с генералом Сюем. Неужели ты думаешь, — он резко повернулся к товарищу, — мне сладко думать, что и Унгерн идет на Ургу?.. Ты забыл, брат, — Сухэ-Батор опустил голову на руки, закрыв ладонями лицо, и его голос дрогнул, — ведь в Урге — моя семья.

Горбы спящих верблюдов поседели от пушистого инея. На снегу черными пятнами темнели псы. Маленький поселок спал, скрывая в одной из своих потрепанных юрт ту «семерку» людей, за каждую голову которой предлагалось десять тысяч долларов. С «Семеркой» были те, которых при поимке просто вешали, ничего не платя. Белая тишина зимней ночи и молчаливая пору-

[1] Цирик — боец.

ка окрестных юрт надежно прятали поселок от глаз шпионов.

Намжил, старый товарищ Сухэ-Батора, — когда-то они вместе участвовали в боях, — разбудил Доржи:

— Вставай, брат! Тебе поручают важное дело.

Доржи, потягиваясь и протирая глаза, сел на кошме и быстро оделся. Они вместе вышли из юрты. Туманный рассвет осыпал их мягким влажным снегом.

— Тебе поручено важное дело, Доржи, — повторил Намжил. — Ты отправишься сейчас в поездку по караулам с Сухэ-Батором, Донджитом и Очир-Бато. Проверь револьвер, спрячь его на себе и помни, — Намжил в упор посмотрел в глаза спутника, — помни, с кем ты едешь.

Идя за револьвером в юрту, Доржи часто дышал, как будто ему нехватало воздуха. Он никогда не был так горд, даже когда в далекой молодости сдавал в монастыре обеты на вторую ступень «ламской лестницы» и получил похвалу. Какой мизерной казалась та мелкая гордость! Короткие полгода сделали его опять молодым, начисто отрезав прошлое. Не стало другой семьи кроме этих людей, вместе с ним боровшихся и побеждавших. Не было и не надо было другого дома кроме этого поселка, невидимыми нитями связанного с каждой аратской юртой, стояла ли она в гористом Хангае или в гобийских барханах.

Доржи ждал Сухэ-Батора у юрты. Начальник вышел легким, торопливым шагом, на ходу поправляя раскрутившийся конец пояса. Широко блеснул белыми молодыми зубами, увидев Доржи. Легко вскочил в седло, сел удобнее и оглянул своих — готовы ли?

Неподкованные кони мягко затопали по свежему снегу.

Сухэ-Батор ехал чуть поодаль, опустив поводья на шею лошади. Белая чесуча шубы резче выделяла его смуглое лицо в пушистом мехе лисьей шапки. Он то и дело пристально всматривался в горизонт.

Лошадь Доржи порывисто встряхнула короткой жесткой гривой и толкнула мордой пегого конька Очир-Бато. Очир-Бато придержал коня. Все молча построились в ряд и пошли рысью.

Эта поездка была началом формирования Монгольской народной армии.

Они работали по монастырям, по аилам, по юртам, зажигая степь. Работали то под своим, то под чужим именем. Юрта за юртой, арат за аратом передавали их из аила в аил, прятали за своими спинами от разведок.

Революция копила силы. Приходилось разговаривать с разными людьми. Очир-Бато улыбался про себя, глядя, как предупредительно подвинул ему чашку князь Сумуя-Бейсе. Это был пожилой человек, подвижный, просто одетый, говорил он остро и образно.

Они пили чай втроем: Очир-Бато, Донджит и Бейсе. Обменивались любезностями и мысленно сравнивали силы. А когда, распаренный от выпитого чая, Очир-Бато вышел на улицу, Сумуя поднялся за ним. Выходя из юрты, уступил дорогу гостю.

На улице Сумуя предложил Очир-Бато трубку и сказал вполголоса:

— Я слышал, — вы из тех семи человек, что для блага многих тысяч аратов собирают на севере армию.

Он говорил просто и коротко:

— Объявлено по всем караулам, что вредные изменники Сухэ-Батор и еще шестеро скрываются на границе. Поймавшему — большая награда, брат. — Бейсе поднял на Очир-Бато блестящие глаза: — Будьте крайне осторожны.

Очир-Бато огляделся, Бейсе жестом пригласил его обратно в юрту, — там можно говорить. Войдя, он крепко притворил за собой дверь, и они опять опустились на мягкие кошмы. Очир-Бато говорил тихо, подаваясь вперед и прямо глядя в спокойное лицо Сумуя.

— Автономию ликвидировали, продали страну генералам. С тех пор не прекращаются бедствия...

Рука Сумуя чуть сильней сжала тонкий мундштук трубки.

— ...И недалеко то время, — уже увереннее продолжал Очир-Бато, — когда, возможно, и названия «монгол» не будет. Мы знаем вас как борца за монгольскую независимость. — Очир-Бато и Донджит поклонились князю, и тот ответил коротким поклоном. — Мы, во главе с нашим руководителем Сухэ-Батором, рассчитываем на вашу помощь в борьбе и передаем вам приветствие от наших товарищей. — Очир-Бато вынул из внутреннего кармана халата шелковый платок — хадак — и с поклоном вручил его князю: — От имени Сухэ-Батора и других наших товарищей вручаем вам хадак.

Сумуя вежливо, по обычаю, ответил на приветствие:

— Я всегда рвался быть полезным человеком, братья. Но травам нужно солнце, делу нужна ясность. Чем я могу помочь?

— Мы думаем и надеемся, что вы поможете записать аратов вашего хошуна в партизанские

отряды, — поджав тонкие губы, внятно ответил Очир-Бато.

Глаза Сумуя блеснули на гостей и спрятались за узкими веками. Его трубка часто задышала короткими дымками. Очир-Бато лениво обвел глазами юрту, встретил настороженные глаза Донджита. В юрте стало тихо.

Трубка Сумуя резко стукнула о столик, выбросив сгоревший табак. Очир-Бато медленно перевел глаза на князя. Тот широко улыбнулся ему, встал, подошел к сундуку, стоявшему в глубине юрты, и наклонился над ним. Очир-Бато покосился на Донджита. Бейсе с треском захлопнул крышку, подошел к гостям.

— Вот, — сказал он, — протягивая Очир-Бато богатый хадак плотного китайского шелка, — передайте Сухэ-Батору. Передайте еще, что я, Сумуя, — он провел рукой по расшитой груди своего халата, — что я, Сумуя-Бейсе, вместе с моими родственниками и весь подчиненный мне хошун будем помогать вашей партии в деле восстановления независимой монгольской государственности. Передайте Сухэ-Батору, — Сумуя положил тонкие руки на плечо гостя, — что по первому его слову будет мобилизован весь хошун...

Гости с благодарностью отказались от настойчивых приглашений князя — остаться ночевать. Князь вышел проводить их на улицу.

Подвернув шубы, Очир-Бато и Донджит плотно уселись в седлах, завязали под подбородками малахаи.

— Куда теперь, дорогие братья? — спросил Бейсе, взглядом знатока окидывая крепко сбитых коней.

— Дело, за которым мы ехали к вам, закончено. Ждут другие неотложные дела. Бесконечно рады, уважаемый князь, что вы изъявили доброе желание помочь нашему общему делу. Счастливо кочевать!

Три головы низко поклонились еще раз, и застоявшиеся лошади быстрой иноходью пошли из ставки, вздымая копытами мелкую снежную пыль.

Вслед за князем в юрту быстрыми шагами вошел его брат, молодой, нарядно одетый:

— Неужели ты пойдешь с этими нищими? — он возмущенно кивнул на дверь.

Бейсе снисходительно посмотрел в гордые глаза юноши и досадливо передернул плечами:

— Ты еще молод, брат! — он вздохнул, разлегся на кошме, распустив пояс и подложив руки под голову, сказал: — Знай: когда холодно, и собака греет.

3

Мороз обжигал лица. Очир-Бато и Донджит спустили длинные рукава, чтоб хоть немного уберечь руки от яростных укусов холода. Похрапывая, кони стряхивали с ноздрей наросшие льдинки. Дыхание белыми хлопьями оседало на их шерсти. Всадники скакали, окруженные холодом, темнотой, без тропинки, без примет, безошибочно угадывая путь в нескончаемом разливе степи, как сотни лет назад скакали их предки.

Промчавшись несколько верст, они свернули на запад, и скоро острые глаза заметили на снегу темные пятна двух юрт.

Вошли заиндевелые, в белом облаке пара, шумно дыша на обмороженные руки.

В темноте на кошмах зашевелились. Заплясал огонек свечи, освещая заспанное лицо хозяйки. Она встревоженно подошла к вошедшим, но, узнав, радостно засуетилась, помогая им развязать обледенелые ремешки шапок. С кошмы, из-под овчины, таращили глаза двое ребятишек.

Женщина подожгла аргал в очаге и, взяв корзину, торопливо вышла из юрты. Очир-Бато жадно поднес к огню посиневшие пальцы. Донджит растирал ладонями лицо. Душное тепло юрты медленно проникало сквозь толщу шуб к их замерзшим телам.

— Три нос! — отдуваясь, сказал Очир-Бато, взглянув на Донджита. По темной коже товарища шли светлые обмороженные пятна. От холода еще знобило спину. Очир-Бато первый разделся и стал вертеться перед огнем. Хозяйка внесла корзину с аргалом:

— Разбудила ваших. Сейчас придут.

— А кто здесь?

Донджит живо обернулся.

— Рядом у брата! — она кивнула на дверь и добавила с почтением и любовью:—Сухэ-Батор здесь.

— Хорошо, очень хорошо! — Очир-Бато потер руки, оглядывая юрту, — давно мы здесь не были. Что от Максорджапа слышно? — он повернулся к хозяйке, которая стояла спиной к нему и наливала воду в котел.

Женщина оглянулась на Очир-Бато, хотела что-то сказать, но углы ее рта дрогнули, и она заплакала, отвернувшись к стене.

Очир-Бато переглянулся с Донджитом. Тот подошел к хозяйке и отнял ее руки от лица:

— Случилось что-нибудь?

— Три дня назад приехал из Урги чело-

век, — всхлипывая, рассказывала женщина, — сказал, что Максорджапа взяли. В тюрьме он.— Обхватив голову руками, женщина раскачивалась, как маятник. Глядя на плачущую мать, на кошме тонко заплакал ребенок.

За стеной захрустел снег, послышались голоса, и, широко распахнув дверь, в юрту вошел Сухэ-Батор. Размашисто обнял обоих товарищей; они радовались встрече шумно и горячо, по-молодому, — всем троим не было вместе и восьмидесяти лет.

Хозяйка вынула чашки. Заметив ее заплаканные глаза, Сухэ-Батор нахмурился и покачал головой:

— Нехорошо с Максорджапом вышло.

Подошел брат хозяина. Вчетвером они опустились на кошмы у огня. Обжигаясь, тянули горячий чай. Женщина села к детям на кошму и оглядывала сосредоточенные мужские лица.

Черные гладкие волосы Сухэ-Батора блестели от огня, словно лакированные. Он первый отставил чашку, обтер юношески-пухлый рот и, откинувшись назад, сказал хозяйке:

— Не плачь. Что нужно тебе, детям — бери у нас... — Он ободряюще улыбнулся женщине и сделал гримасу ребенку. Мальчик, осмелев, потянулся к пестрым кистям его ножа. Сухэ-Батор отстегнул нож в длинных кожаных ножнах и бросил его ребенку:

— Играй!

И опять, усевшись поудобнее, оглядел товарищей:

— Ну, давайте говорить, братья.

Выслушав рассказ Очир-Бато, он, как кошка, зажмурился на огонь.

— Ну что ж? Пусть и все ваши поездки будут так же удачны, как эта.

— Сумуя-Бейсе — хитрый человек, — сказал Гунджит, брат Максорджапа, медленно потягивая свою старую потертую трубку.

— Правильно, — Сухэ-Батор кивнул, — Сумуя — хитрый и умный человек, и поэтому он пойдет сейчас с нами... Все князья пойдут с нами, братья, сейчас, когда мы освобождаем страну от японских рук. Но помните! Если революция победит утром, то вечером того же дня князья попытаются надеть нам на шею старый хомут и предадут наше дело... И, кто знает! — Сухэ-Батор улыбнулся, — не обратятся ли тогда они к той же японской военщине за помощью против монгольских аратов. Но до победы мы пойдем вместе!

Они говорили долго. Очаг уже догорал, и в корзине не было больше аргала. В юрту просачивался назойливый холод рассвета. Сухэ-Батор, почувствовав холодную струю, оглянулся на дверь, — старые доски рассохлись. Он встал, провел рукой по щели и сказал Гунджиту:

— Сменить надо. Знаю, вам трудно сейчас, — ничего, достанем денег. Ведь дети... — показал он на кошмы, возвращаясь к очагу.

— Унгерн готовится взять Ургу, братья, — сказал Гунджит, пряча трубку в гутул. — Говорят, к нему идут многие.

Сухэ-Батор закрыл глаза, покачал головой:

— Уйдут обратно. Как ни страшен вид барса, — силы у него меньше, чем у лисы. Он сам сожрет себя, этот новый «родственник Богдо», — усмехнулся Сухэ-Батор, — а мы и красная Россия ему в этом поможем.

4

Шли люди, формировались отряды, скрываясь от шпионов в пограничных степях и лесах.

— Если каждый монгол будет сидеть в своей юрте молчком, когда в стране такие бедствия, то кто же будет нас спасать? — заявил Сухэ-Батору начальник пограничного караула, старик Дамдин, и тут же сам поклялся перед божницей: — Все, что вы говорите, — правда. Я хоть и старик, но до конца жизни буду участвовать в вашем большом деле. И то, что вы — младший брат — мне поручите, все исполню.

В партизанских отрядах каждому находилось дело. Чинили верблюжью упряжь, конские седла, кошмы, хомуты. Доржи вместе с другими грамотными товарищами печатал листовки. Типографии не было. При свечах, в дрожащем неверном свете, Доржи вырезал на деревянных дощечках причудливые буквы. Изрезанное дерево покрывалось краской, и гладкая бумага, прижавшись на миг к дощечке, уносила с собой «Воззвание от имени представителей Народной партии к монгольскому народу».

Вместе с силами крепла вера в успех, но к Цаган-саре — новому году — товарищи, посланные с письмом в Ургу, привезли плохие вести. Похрустывая пальцами и нахмурив густые брови, Сухэ-Батор слушал сообщения от гонца.

«В Урге — плохо. Много наших сидит в тюрьмах, а оставшиеся на свободе товарищи совершенно бессильны. Со дня на день ждут нападения белых на Ургу».

После нового года пришло еще письмо из подполья. Товарищи писали:

«Время второго наступления барона совпало

с Цаган-сарой. И когда монголы приходили в лавки за покупками, некоторые купцы не стеснялись говорить: «Вам и жить-то осталось не больше трех дней. Не готовьтесь к Цаган-саре. Вместо белого для вас взойдет красный кровавый месяц».

Третьего февраля белобандиты заняли Ургу.

Сюй отступил по тракту на север. Мобилизуйте силы, готовьтесь к борьбе...»

В руках Сухэ-Батора с треском переломилась тонкая трубка. Он взглянул на обломки и отшвырнул их в угол. Его глаза вспыхнули гневом. Собрание постановило: обязать всех мобилизованных цириков по первому приказу командования выступить с границы в глубь страны...

УРГА ПАЛА

Год 1921

1

«Урга мною взята. Развиваю наступление на советскую Россию...»

Унгерн писал под копирку, крепко надавливая на карандаш, чтобы яснее была копия. На слове «Россия» графит треснул, и дерево занозой впилось в бумагу. С досадой отшвырнув карандаш, барон стал искать в бумагах другой. Не найдя, резко дернул колокольчик.

Вошел поручик, посвежевший, подтянутый. Новые, в обтяжку, сапоги мягко скрипели. Только одно отравляло удовольствие поручика, — шпоры были неважные, почти без звона.

Откинувшись на спинку кресла и прищурив глаза, Унгерн стал рассматривать адъютанта. Каждая секунда его молчания меняла выправку поручика, сгоняла с его лица самодовольство.

— А знаете, поручик, вы довольно элегантны. Наверное, пользуетесь успехом у женщин, а?

Унгерн встал и, заложив руки в карманы, еще раз оглядел офицера. Польщенный адъютант сделал шаг вперед:

— Кстати, о женщинах, ваше превосходительство. Много переписки, и получается неаккуратно; я, к сожалению, плохой переписчик. Разрешите пригласить в штаб машинистку?

Барон подошел к адъютанту и взял его за новенькую портупею:

— Так вот, запомните, поручик, — сказал он, прямо глядя в лицо офицеру, — чтоб ни одной бабы в штабе не было. На револьверный выстрел. Я вас сопостельницами снабжать не брался. А кобеляжем будете заниматься — чтоб я не видал. Поняли? — и добавил, расправляя усы:

— Письма уж как-нибудь сами отпечатаете. Что, грязновато? Ничего. Мне не свадебные приглашения рассылать. Наточите-ка теперь карандаши, да поскорее.

Адъютант направился к двери. Барон повернулся на каблуках и отошел к окну.

— Одну минуту! Как капитан Иосихара и другие японцы?

— Все устроено, как было приказано, ваше превосходительство. Отдельные квартиры, китайцы-повара, запасы риса...

— Чтоб перебоя в продуктах не было, — жестко сказал барон. — Помните! Наладьте бесперебойную доставку из Манчжурии. Ступайте.

В окно вливался солнечный день, сверкающий

свежим снегом. Унгерн смотрел во двор на коней у коновязи. Желтые лампасы его казачьих галифе плоскими змеями сбегали к сапогам. Тонкая полотняная рубашка без воротничка открывала белую шею. Вытянув упрямую нижнюю губу и засунув руки в карманы, барон прищурился на солнце, потом, поднявшись на носках, стукнул каблуками и засвистел.

— Первая крупная ставка выиграна, — вслух подумал Унгерн.

Поручик принес карандаши. Унгерн вернулся к столу и, не глядя, взял первый попавшийся. Покусывая рыжие усы, писал медленно, почти без помарок. С его лица сошла волчья озлобленная напряженность, — он отоспался, отдохнул.

Дописав до половины страницы, барон задумался, постукивая карандашом по столу: Урга взята. В его руках ключ к Монголии, но еще не вся страна. В Алтае — отряды Кайгородова. Нужен, просто необходим контакт. Унгерн нетерпеливо тряхнул головой, и карандаш снова забегал по бумаге.

«Зная Вас как человека, посвятившего жизнь свою на борьбу с большевизмом, и Ваш авторитет в Алтае, предлагаю согласовывать Ваши действия с моими. Займите Улясутай, уничтожьте всех революционеров, какой бы национальности они ни были...»

Остановился, прочел написанное и добавил: «В порядке подготовки будущего наступления на Россию примите меры...»

Страница кончилась. Меняя копирку, Унгерн прислушался. В плохо замазанные окна с улицы доносился шум: ординарец кричал на монгольских часовых. Унгерн нахмурился, покачал головой и продолжал:

«...к тому, чтобы довести недовольство местного населения советской властью до возможных пределов. Необходимо лишить население предметов первой необходимости. Проведите реквизицию всех товаров...»

В дверь постучали. Вошел поручик и подчеркнуто строго, глотая последние слоги, доложил:

— Ваше превосходительство. От его святейшества.

Унгерн удивленно поднял брови, взглянув на часы-браслет:

— Почему так рано? — и, торопливо расстегивая халат, кивнул поручику на стол: — Приберите.

Через пять минут в новом халате из хрустящего китайского шелка барон радушным хозяином встречал гонца с переводчиком. Довел до шелковых подушек, разбросанных по кобдинскому ковру.

— Как здоровье его святейшества? Здорова ли его жена?

Монгол вынул из халата свиток тугого пергамента с висячей тяжелой печатью Богдо.

Унгерн слушал монотонный голос гонца, угадывая за непонятными звуками ожидаемый смысл. Уловил свое имя, искаженное гортанным монгольским выговором, имена своих соратников...

Пергамент опять свернулся в трубку, заговорил переводчик. Унгерн — на подушках, поручик — стоя у дверей, — жадно ловили каждое слово:

«Сообщение монгольского военного министерства на имя дающего развитие государства великого героя и великого князя в степени хана — генералу барону Унгерну.

...Последовал прилагаемый при сем милостивейший указ просветителя веры, дающего блаженство живым существам, драгоценнейшего ламы, ведающего религией и государством...»

Пряча раздражение, Унгерн пропускал мимо ушей бесконечный перечень титулов и званий того, кто был необходим теперь ему в этой привлекательной, но слишком многословной азиатчине.

«...Ведающего религией и государством, блистательного, подобно лучу солнца, и имеющего десятитысячелетний возраст святого Эцзен-Хана...[1]

Монголия временно утратила права... Но молитвами ламы и благочестием народа объявились знаменитые генералы...»

Поручик вынул платок и спрятал в нем улыбку...

«...военачальники, воодушевленные желанием оказать помощь желтой религии, уничтожили коварного врага и восстановили прежнюю государственную власть, а посему сии генералы-военачальники действительно заслуживают великого почитания и высокой награды...»

Унгерн нетерпеливо выпрямился. Гонец сидел, неподвижный, как Будда.

«...По высоким заслугам награждаются: русский генерал барон — потомственным великим князем Дархан Хоцой Цин-Ван в степени хана. Ему предоставляется право иметь паланкин зеленого цвета, красновато-желтую хурму, желтые поводья и трехочковое павлинье перо. Ему присваивается звание «дающий развитие государству, великий герой генерал Цзянь-Цзюнь».

---

[1] Перечень официальных титулов Богдо-Гегена.

Унгерн удовлетворенно перевел дыхание. Теперь, при двойном весе, работать будет легче. А переводчик все читал:

«...Генерал Резухин — потомственным великим князем... Помощник генерала-барона Жигмит-Жамбалон... Монгольский тайджи[1] Лупсан-Цывен...»

С церемониями вручив пергаментный свиток барону, посланный вышел, задом пятясь к двери, как выходят от высоких сановников.

Когда дверь закрылась, поручик с улыбкой поклонился барону:

— Разрешите поздравить с наградой Богдо, ваше превосходительство.

Унгерн размотал и отбросил в сторону пояс,— в комнате было жарко. Он поднял светлые глаза на адъютанта и усмехнулся в усы:

— Попробовал бы не наградить!

Ноги затекли от непривычного сиденья на подушках. Удовлетворенно усевшись на диван, Унгерн вынул из кармана золотой портсигар.

— Что-нибудь еще есть?

— Есть почта, ваше превосходительство.

— Давайте скорее. Потом я еду в мой дивизион.

Монгольский, им самим сформированный, дивизион Унгерн всегда называл «своим», отдавая ему предпочтение перед остальными частями.

Поручик подал письма:

— Из Хайлара, от генерала Шимелина.

— Прочтите. У меня устали глаза, — сказал Унгерн, вытянувшись на диване и пуская ровные кольца дыма.

Поручик вскрыл конверт.

---

[1] Тайджи — дворянин.

«Дорогой барон, поздравляю тебя с успехом. Я тоже скоро буду воевать. Амурские казаки «выбрали» меня войсковым атаманом. Для дела нам надо иметь связь. Из Хайлара уеду в апреле».

Поручик пробежал глазами конец письма и улыбнулся. Барон повернул голову:

— Ну?

«...Личная просьба к тебе. Если можешь, вышли мне срочно пять тысяч рублей. Я тебе верну. Меня здорово подвела квартира, за которую пришлось уплатить все, что имел. Твой Шимелин».

— Еще приписка, — сказал поручик.

«...Пиши... — да! — Пиши об обстановке».

Унгерн передернулся. Скомкал папиросу и отшвырнул ее в угол. Поручик с любопытством ждал. Унгерн резко поднялся, подошел, взял письмо и с нахмуренными бровями пробежал его. Пожал плечами:

— Что он, с ума, что ли, сошел, этот Шимелин?

— В банке имеется золото, ваше превосходительство, — почтительно доложил поручик, — прикажете послать?

— Садитесь и пишите, — Унгерн коротко кивнул на стол.

Адъютант взял перо.

— Пишите: «Дорогой Илья...»

Унгерн настойчиво выстукивал костяшками пальцев по краю стола. Удача вскружила голову, и его раздражал панибратский тон письма.

— Денег? — он усмехнулся. — Форменный идиот! Пишите, поручик, — «Дорогой Илья, ты не наказной атаман Амурского войска, а болван...»

— Но, ваше превосх...

— Пишите, — Унгерн ударил рукой по столу. В малахитовом приборе задребезжали чернильницы. — «В своем ли уме писал ты письмо, прося выслать пять тысяч...»

Унгерн задумался, покусывая ус. И уже спокойно закончил: «Посылаю тебе тысячу долларов, а до твоих расходов на квартиру мне дела нет. Можешь хоть целые дворцы снимать, но для этого денег не дам. Если останешься не у дел, приезжай, — прокормлю».

— Кончили? — он протянул руку за письмом. Поручик подал. Унгерн просмотрел и подписал. — Отправьте так, как есть, а то опять будете жаловаться, что машинистки нет. И распорядитесь насчет денег.

В комнату без стука вошел Резухин. Взглянув на раздраженное лицо барона, деловито поздоровался и сказал коротко:

— Рабинович из Харбина пишет, что хотел бы приехать. Как ты?

— Как я? Ко всем чертям, конечно, — отозвался Унгерн, сосредоточенно наматывая на талию бесконечный монгольский пояс, — кстати, напишите в Харбин, пусть купят и пришлют мне трехлинейных патронов.

Пояс, наконец, кончился. Поручик подал барону его нагайку. Похлопывая себя по сапогам, Унгерн, не прощаясь, пошел к выходу.

— Да, — уже в дверях он повернулся к Резухину. — Рабиновичу напишите: хотя и друг, но повешу как жида, если перейдет границу Монголии.

Унгерн вышел, не закрывая за собой двери.

— Постойте, — обратился Резухин к поручику. — У вас на крыше человек в белье лежит.

Убитый, должно быть. Почему не распорядитесь убрать?

— Не убитый, а бухгалтер, — поправил его поручик. — Ночью заснул над составлением ведомостей. Генерал приказал посадить на крышу на двое суток, проветриться. Обмерз, должно быть.

Адъютант торопливо собрал со стола бумаги и поспешил вслед за бароном.

Из-под копыт вырвалась золотистая морозная пыль. Сверкая ослепительным снегом вершин, лежали горы. Серая, плоская, запорошенная инеем, Урга, как огромный лишай, расползлась у их подножья. На заборах города шумели вороны и ястреба.

Поручик удивленно прислушался, — шум птиц показался непривычно громким. Потом понял. Когда смолкали птицы, начиналась тишина. Город молчал.

Унгерн свернул коня на главную улицу города и прищурил глаза. Разбитые корзины, ящики валялись на земле. Растоптанный чай смешался с пылью. Блестели черепки разбитых богов.

У коновязи сидел повешенный и пялил на Унгерна застывшие белки.

Унгерн оглянулся. Увидев серьезное лицо адъютанта, скривил рот и жестом пригласил поручика:

— Прошу!

Ужаленная шпорой лошадь вынесла поручика вперед. Под копытами хрустнуло стекло. Они повернули в узенький переулок и выехали на площадь. Площадь встретила всадников молчанием. Мертвые темнели у заборов, висели на телеграфных столбах. На одном повешенном

сидел ястреб и размахивал крыльями, сохраняя равновесие. Труп качался.

После плотного завтрака поручика замутило. С трудом проглотив слюну, он отвернулся.

— Не волнуйтесь, поручик. Это с непривычки, — процедил барон, поправляя перчатку.

В стороне дымились развалины госпиталя. Заняв Ургу, унгерновцы взорвали его вместе с лежавшими в нем ранеными.

Город кричал о страшных днях погрома, крови и грабежа. Здесь убили ребенка, там лежал труп старого еврея в темном сюртуке и ермолке. Живых не было. Грабители ушли, — мертвые остались у открытых дверей своих разграбленных домов.

У саманного забора, пригревшись на солнце, лежала черная мохнатая собака. Возле нее возились щенята. Маленькие, веселые, они тявкали, катались в пыли. Мать напряженно следила за ними. Она была сыта. Мяса было слишком много.

Лошадь Унгерна потянула носом и заржала. Один щенок — самый толстый — оглянулся, пискливо залаял и, потешно переваливаясь на коротких лапках, бросился к коню. Унгерн резким движением дернул лошадь, но щенок, сам испугавшись своей смелости, уже бежал, поджав хвост, обратно. Мать встревоженно обнюхала его и, лизнув в морду, подтолкнула к другим. Потом потянулась, молча оскалив на людей белые клыки.

— Какая прелесть все-таки это звериное материнство, а, поручик? — Унгерн кивнул на собак.

Обежав взглядом исковерканную улицу, тела убитых мужчин, женщин, детей, адъютант не

нашелся что ответить. Барон искоса взглянул на него, и его лицо опять стало холодно-насмешливым. Он молча ударил коня нагайкой и поскакал вперед, не разбирая дороги. Разогнавшаяся лошадь тяжелым галопом прошла по окоченевшему человеческому телу.

Дивизион стоял в юртах на краю города. Объехав ряды, Унгерн принял от своего помощника рапорт о состоянии частей и остался ночевать в дивизионе.

Вечером он долго бродил по лагерю. Хотелось шире расправить легкие, глубже вздохнуть, — так велико было ощущение победы. Урга взята. Он сам — барон Унгерн, выгнанный когда-то Врангелем за пьянство из казачьих войск, — теперь генерал, начальник Азиатской конной дивизии.

В горле стало сухо. Барон глубоко вдохнул морозный ночной воздух. Надо было итти. Ждали письма. Боясь предательства, переписку он не доверял никому.

В темноте ночи горели огни палаток. Унгерн шел к себе, и неожиданно до него донесся шум. Несколько голосов спорили, перебивая друг друга.

Барон остановился около палатки, напряженно вытянув шею. Разговаривали цирики-монголы. В гортанном гуле непонятных слов Унгерн услышал брань, свое имя и вошел, заслонив собой черный холод ночи.

Цирики сразу замолчали. Стало слышно, как трещит в очаге аргал и шуршит за парусиновой стеной ветер. Три пары узких черных глаз смотрели в лицо барона.

— Кто понимает по-русски? — мягко спросил Унгерн, погладив усы.

Один поднялся:

— Я.

— Расскажи, о чем спорили?

Монгол замялся, ища глазами поддержки товарищей.

— Ну, — настойчиво повторил Унгерн.

Цирик передернул плечами под пристальным взглядом круглых белесых глаз.

— Вот у него, — он указал пальцем на крайнего цирика, — Урга был один хашан [1]. Когда наша, — он обвел рукой невидимый лагерь, — Урга брал, очень много народа убил. Сколько дети убил. Маленький, совсем маленький. Один дом я сам видел, белый солдат, твоя солдат, — он кивнул Унгерну, — маленький мальчик, два-три года, — не знаю, шашкой голова рубил... — Цирик передернулся, зажмурив глаза: — Очень, очень много народа. Его жена, отец, дочка тоже умер. Все, — закончил он и сел.

— Детей вырезал и буду вырезать, — твердо чеканя слова, сказал Унгерн. — Из детей взрослые вырастут. Нечего оставлять хвосты. Как зовут?, — он повернул лицо к тому, о ком говорили.

— Лупсан, — коротко ответил тот и молча продолжал смотреть на Унгерна. Узкие глаза не скрывали вражды. Унгерн повернулся и вышел из палатки.

К себе пришел нахмуренный и застывший. Потирая замерзшие руки, сел на кошму и подвинул к себе приготовленный адъютантом маленький столик с бумагой.

— Пойдите сейчас к Жамбалону, — обратил-

---

[1] Хашан — ограда, двор.

ся он к поручику, — скажите, чтоб наблюдал за цириком Лупсаном. Какой части — не знаю. Он ночует отсюда в третьей палатке. Если будут хоть какие-нибудь разговоры, — из дивизиона убрать. Можете итти. Вы мне не нужны.

— Спокойной ночи, ваше превосходительство.

Барон кивнул. Поручик вышел.

Не задумываясь, быстро и легко Унгерн писал круглым размашистым почерком одно из «приятных» писем, в которых можно было быть почти откровенным, — в Пекин, подполковнику Григорьеву: «... Надо создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все народы монгольского корня. Нам необходима оборона, и моральная и военная, от растлевающего влияния запада... Я начинаю движение на север и на-днях, — Унгерн жирно подчеркнул последнюю строку, — открываю военные действия против большевиков».

Он задумался. То, что казалось таким недостижимым в дни позорного отступления из России, теперь было близко, почти в руках: в его военной силе и растущей известности, в связях с вековыми крепостями ламских монастырей, в почтительных поклонах японских офицеров его штаба.

На монгольском небе высоко поднялась звезда Унгерна. Теперь великокняжеское звание заставит повиноваться ему каждого арата.

Но в памяти неожиданно всплыли враждебные глаза монгола-цирика. Унгерн нахмурился и написал на оборотной стороне листка, тяжело надавливая на перо: «Прошу вас воздействовать на вашего соучастника по курению опиума, чтобы он прислал мне опытного монгола-дипломата, который мне крайне необходим...»

И, уже запечатывая письмо, вложил в конверт еще клочок бумаги: «толкните самого жирного генерала на работу. Пора. Чахар, которого вы послали ко мне, застрял у Семенова, оказался грабителем и мерзавцем».

Подписался по-приятельски коротко: «уважающий вас барон Унгерн».

2

Подымаясь на крыльцо штаба, Умзашри-лама резким движением стряхнул с плеч снег и вошел в дом, захлопнув дверь перед носом у ветра.

С заповедных богдоульских лесов по ветру мчался снег, бил в лицо, оседал на телеграфных столбах и высоких мрачных частоколах Маймачена. Буря срывала шубу с дежурного часового, путалась под ногами снежными комьями. Часовой ходил вдоль стены, втянув голову в плечи, упрятав руки в рукава. За спиной длинным клювом торчала винтовка. Пушистой белой плесенью затянуло стекла. Несмотря на то, что был день, в комнате горело электричество.

Растягивая слова, Умзашри-лама вязал витиеватые фразы, поздравляя барона с неслыханной милостью Богдо. Унгерн слушал, опираясь на стол, и отдыхал от надоевшего переводчика, — лама в совершенстве владел русским языком.

Поздравляя, Умзашри внимательно изучал лицо барона. Отметил, что русский стал спокойнее, что скулы его округлились, что взгляд потерял настороженность.

Барон слушал молча. Дважды дрогнула под его усами легкая улыбка и не ушла незамечен-

ной. Приняв поздравления, Унгерн поклонился.

— Никаких иных целей, кроме восстановления законных прав его святейшества, я не преследовал, — сказал он, приглашая Умзашри-ламу на подушки к китайскому столику, — я принципиальный, убежденный монархист.

— Если так, то, великий генерал, вы достигли своей цели, не так ли? — вставил Умзашри-лама.

Насторожившиеся глаза барона уперлись в непроницаемо-почтительное лицо ламы.

— Поблагодарите владыку за высокую честь, — продолжал Унгерн, — моя дружба и преданность принадлежат монгольской аристократии и духовенству, а у меня как монархиста, — он смотрел на Умзашри-ламу, отчеканивая каждое слово, — может быть только одна цель, одно дело — восстановление царей всего мира.

Внесли чай, сладости. Умзашри-лама плотнее уселся на подушке и откинул широкие рукава. Янтарные четки сухо звякнули о лакированную поверхность столика. Резная чаша легко и удобно покоилась в породистых руках ламы. Он смотрел в волчьи прозрачные глаза Унгерна спокойно.

— Извещения Китаю посланы, — сообщения ламы были лаконичны и насыщены. — С этой стороны, повидимому, не будет больших неожиданностей.

— С этой? — суховато протянул барон, — если русский текст письма под рукой, я бы хотел...

Умзашри-лама молча вынул из полы халата бумагу и подал барону. Глаза Унгерна внимательно прошли по строчкам.

— Хорошо. Радуюсь тонкости и уму вашей дипломатии. Общение с вами обогащает мою голову. Что думает многими возведенный?

От одежды, рук, от всего тела ламы шел тяжелый запах. В жарко натопленной комнате становилось душно. У барона начиналась мигрень.

— У святого владыки много беспокойства, — лама прищурился, — кто знает, какие пути впереди? — добавил он, пожав плечами. — Говорят — на кладбищах самая густая трава. Но наши пастбища всегда были тучны, великий генерал. Зачем же земле столько убитых?

Он наклонился к побледневшему барону, на секунду опустил веки и продолжал, как бы не замечая злобы в светлых глазах собеседника:

— Великий генерал! Страна ропщет, а на севере красные.

— В городе были перебиты только евреи, — отрывисто бросил Унгерн, — и это было необходимо.

Умзашри-лама медленно покачал головой:

— Значит, великий генерал, ваши люди не умеют отличать евреев; убито много монголов.

И одним движением руки оправив широкий белый обшлаг, признак высочайшего сана, он закончил спокойно:

— У святого владыки много забот.

В руках Унгерна хрустнула спичка. Он, не скрывая, усмехнулся, поняв, что дело не в полуслепом пьянице Богдо, а во всей монастырской верхушке.

Пересилив раздражение и скривив лицо от мучительной головной боли, Унгерн стал говорить:

— Но это же ясно. Восток должен был рано или поздно столкнуться с Западом, Азия — с Европой. Целыми столетиями на Западе расшатывались устои аристократизма и религии, а теперь там, — он указал рукой на север, — начало конца. Будущее России темно и не поддается никакому прогнозу.

— Все это, может быть, и так, великий генерал... — мягко начал Умзашри-лама.

— Да, да, знаю, — нетерпеливо перебил его барон, — «но какое вам дело до Запада?» — хотите вы сказать...

Чаша ламы была пуста; Унгерн забыл предложить ему вторую, и Умзашри презрительно удивлялся бестактности человека чужой культуры. Барон молчал.

— Мы хотим, — прямо сказал лама, перестав ссылаться на Богдо, — знать, куда идут ваши мысли, о, «дающий развитие государству великий герой». Что нам до Запада, лишенного счастья иметь нашу религию, издревле хранимую небом.

— Не так просты пути истории, святой отец, — Унгерн прищурился. — Если вам, сохранившим устои желтой веры и аристократизма, и не до красных, то им — до вас. Смотрите... Революция заразнее чумы.

— Мы понимаем все это. Вы, великий генерал, можете не беспокоиться...

Лама вынул полированный флакон-табакерку и втянул в себя душистый табак. Предложил Унгерну.

— Вы будете иметь нашу поддержку в вашей борьбе, но...

— Но вы не хотите рисковать, — насмешливо протянул Унгерн.

Он настойчиво впился глазами в лицо ламы, но тот был, как бурхан, вежливо благодушен. Барон устало отер лицо платком. Глаза глубже ушли в глазницы. Умзашри-лама спокойно глядел в белый квадрат окна.

— Если революция одолеет, — разве удержится ваша власть? — настойчиво повторял Унгерн. — Нельзя ограничиваться одним разгромом Сухэ-Батора. Корни его — в советской России. Победа большевиков перекинется и сюда, в эти степи!

Проводив ламу, он стал ходить по комнате из угла в угол, от окна к столу, сжимая и разжимая за спиной руки. Халат путался в ногах, — барон сбросил его на пол. Остался в казачьих шароварах, в нижней рубашке, и все-таки было душно. Рванул ворот и позвонил.

Вошел адъютант. У Унгерна дергалась левая щека:

— Приказ написали? Я больше сегодня принимать не буду, достаточно и этого визита.

Просмотрел черновик приказа, нахмурился и выругался:

— Когда научитесь писать без размазывания?

Поручик, не сморгнув, выслушал ругань и подвинул чистый лист бумаги. Унгерн стоя набросал приказ.

— Отдайте. Что еще срочного?

— Задержан монгол, ваше превосходительство, — торопливо рапортовал адъютант, не сводя глаз с лица барона. — Есть подозрение в шпионаже.

— Повесить! — Унгерн мотнул головой. — Повесить без суда, сволочь.

Поручик отступил на шаг и застыл.

У Унгерна начинался припадок бешенства.

— Повесить, — прохрипел барон, — и всех вешать, кто попадется. Убирайтесь вон!

Поручик выбежал из комнаты. Закрыв дверь, он перевел дух. С дивана, стоявшего в коридоре, поднялся Резухин.

— Генерал один?

— Лучше не ходить, — поручик покачал головой.

— Так, — понимающе протянул Резухин, — ну, ладно. А приказ подписал?

— По-своему составил. — Адъютант протянул неряшливую записку Унгерна.

Резухин прочел и удивленно пожал плечами:

— Да он с ума сошел. Нельзя же такой приказ отдавать по частям. Ну, послушайте:

> «Приказ по Азиатской конной дивизии от 12 февраля 1921 года. Воспрещаю производство самочинно без разрешения коменданта города арестов, кроме евреев, обысков и реквизиций...
>
> Евреев, имеющих от меня записки, приказываю не задерживать.
>
> Глупее людей, сидящих в штабе дивизии, нет. Приказываю никому, кроме посыльных, не выдавать три дня продуктов».
>
> И подпись — «Начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн».

Резухин решительно подтянул ремень:

— Этого распространить нельзя.

— Нет уж, позвольте, полковник, я отвечаю. Мне поручено, с меня и спросят. Приказ пойдет. — Поручик взял бумагу и пошел в свою комнату к пишущей машинке.

— Ну, делайте, что хотите! — Резухин махнул рукой.

Плотно затворив за собой дверь, полковник устало пошел по коридору. Ему хотелось спать. Было уже поздно. За стеной ревела буря, в конце коридора звенело от ветра плохо замазанное окно.

Вдруг сквозь вой пурги до Резухина донесся дикий визг. Полковник остановился пораженный, прислушался. Визг повторился. Невозможно было определить, кто визжит — женщина или мужчина. Потом послышался шум, где-то захлопнулась дверь, и все стихло.

Резухин зашел в дежурку. Навстречу ему поднялся молодой казак, из недавно завербованных Унгерном забайкальских белоэмигрантов.

— Кто кричал?

Казак ухмыльнулся, отдавая честь.

— Поп, ваше благородие!

— Какой поп? — Резухин нахмурился.

Парень ухмыльнулся еще шире и переступил с ноги на ногу:

— Так что, ваше благородие, посмотрите лучше сами. На кухне, по коридору, налево...

Резухин вошел в кухню. В первый момент он ничего не мог понять.

В жарко натопленной кухне, за руки и за ноги привязанный к широкой лавке, лежал человек. По разорванной сверху донизу рясе, длинным волосам и бороде можно было узнать священника. К голому его животу был привязан большой цветочный горшок.

Личный адъютант барона, бурят Содномов, осторожно просовывал добела раскаленный шомпол в отверстие на дне горшка.

В горшке поднялась возня. Поп дернулся и

завизжал так, что у Резухина зазвенело в ушах.

Зажмурившись, Резухин махнул рукой. Бурят вытащил шомпол и, не вставая с табурета, поднял на полковника спокойные зеленые глаза.

— Что ты делаешь? — спросил Резухин.

Из-под горшка по голому животу попа ползла алая струя крови. Поп стонал, сжав сморщенные веки и оскалив желтые длинные, как у лошади, зубы. Клочковатая, забрызганная слюной и кровью борода торчала кверху, как приклеенная. На голой волосатой груди поблескивал золотой крест на тонкой цепочке. Ноги попа в грязных засохших исподниках, обутые в сапоги, часто и мелко вздрагивали.

Резухин поднял глаза на Содномова. Тот усмехнулся, сунул в плиту остывший шомпол.

— Красным письма передавал, — он кивнул на попа. — Начальник велел узнать, что у него в нутре делается. Крыс ему привязали.

Резухин невольно отступил назад.

— Как крыс?

— В горшке вон, — Содномов, посмеиваясь, постучал по горшку. Поп втянул в себя живот. Под кожей на груди ясно обозначались ребра.

— Не рвись, не рвись, — пробормотал бурят, попробовав рукой веревки...

— Однако крысы, дьяволы, ленивые, что ли, попались. Не оголодали еще как следует. Генерал поторопить их велел, — он кивнул на шомпола в печке. — Я — их, они — его...

— А барон?.. — Резухин провел рукой по лбу.

— Каждый вечер лично смотрит. К вечеру и

готовлю, — он опять показал на шомпола. — Генерал говорит, когда до кишек доедят, поп помереть должен...

Резухин молча вышел из кухни.

«Туго же приходится тебе, барон, — невесело усмехнулся он, оглядываясь на унгерновский кабинет, — если по бессмысленному, идиотскому доносу своих же попов пытать начал!»

— С ума вы все сошли... Поп — красные... — пробормотал он, надевая поданную дежурным шубу, покачал головой и вышел на крыльцо.

Один в комнате, Унгерн, как зверь, метался от стены к стене. Хрустел пальцами и без конца говорил сам с собой:

— Неужели здесь, на самом пороге — осечка? — Он бросился к креслу, оперся локтями на колени и обхватил голову. — О, господи!

Мысли метнулись к давно отвергнутому и забытому богу.

— Нет, не то!

Он опять поднялся. Подошел к окну. Ногой с одного удара вышиб стекла и кричал, до крови перекусив губы:

— Нет, не остановишь! Не возьмешь! Завтра выступать.

Кричал, захлебываясь бессильной яростью в ночь, в бурю:

— И пленных не брать! Слышите? Пленных не брать!..

ПЕРВЫЙ ПОЛК

В самую глубь поросших лиственницами сопок забрался распадок, глухой и извилистый. В распадке отсиживался отряд партизан-добровольцев. Отрядом командовал Дамдин — опыт-

ный степной лис, знавший каждую пядь пограничных земель. Его юрта пиявкой присосалась к пологому боку сопки, выше всех. Из нее от края до края был виден лагерь.

Отряду нехватало юрт, нехватало даже палаток. Долгие зимние ночи мучили неумолимым холодом, и с наступлением темноты ровные струи дыма поднимались из распадка к сверкающим зимним звездам. От зари до зари дежурили посты, оглядывая каждую точку в степи, настороженно прислушиваясь к каждому шороху. Но степь была тиха. Сопки надежно прятали партизан.

Отряд рос, вбирая в себя новых и новых беглецов от плетей и поборов, от больших обещаний и кровавых казней Унгерна. А по главному тракту двигались на Кяхту отброшенные Унгерном из Урги отряды генерала Сюя.

— Араты уходят с их пути, бросают родные земли, — рассказывал Очир-Бато, когда последний раз был в отряде с распоряжениями Сухэ-Батора. — Старые и малые, мужчины и женщины, бегут к нам, товарищи. Наши силы растут, и скоро это ущелье станет тесным.

Доржи в дозоре зябко кутался в старую овчинную шубу. Ветер катил по степи легкие перекати-поле; подпрыгивая, они неслись по обледенелой земле. Много их, сухих, круглых, неслось по равнине; и некоторые мчались почему-то навстречу ветру...

Винтовка сама легла в руках, готовясь к выстрелу. Застыв, как волк перед прыжком, Доржи всматривался в темные движущиеся пятна, — свои приходили только по тропинкам из сопок.

Пятна стали всадниками. Ясно видные в ле-

дяной прозрачности морозного дня, они остановились: их было одиннадцать. Прижавшись к скале, Доржи ждал.

Налево — невидимый за равниной — тянулся тракт, направо — сопки, тайга и распадок, скрытый в лабиринте холмов.

Всадники топтались на месте. Один, обведя рукой холмы, повернулся к остальным. Ветер донес нетерпеливое ржанье лошади. Всадники, растянувшись цепью, медленно затрусили направо, вдоль холмистой гряды.

Спрыгивая с камня на камень, взбивая пыль и снег, Доржи бежал вниз с винтовкой наперевес. Камни, вырываясь из-под ног, обгоняли его и с шумом падали у палаток, будя тревогу. И сам Доржи, как камень, с криком упал в спокойный муравейник лагеря.

Старик Дамдин, на ходу подбирая патроны, отрывисто, вполголоса отдавал распоряжения.

— Помните, — сказал он, в последний раз оглядывая людей, — чтоб ни один не ушел. Уйдет один, — завтра нагрянут сотни.

Торопливо оседлав коней, небольшой отряд партизан пошел в обход, чтоб выйти в тыл тем, кто пришел в долину.

— А вдруг свои? — протянул сосед Доржи, молодой парень, садясь на коня.

Старик Дамдин живо обернулся:

— Свои знают дорогу. Не будут зря шататься по степи. Чтоб ни один не ушел, товарищи, — повторил он.

Дамдин, чуть трогая коленями коня, двинулся вперед, осторожно обходя камни, чтобы не шуметь. Следя за каждым движением старика, Доржи застыл в седле. Приподнявшись на

стременах, Дамдин вытянулся, налег на шею коня и выглянул из распадка.

По взмаху его руки партизаны ударили коней. Под копытами загрохотали камни. Раскатился выстрел. Кто-то вскрикнул, чья-то обожженная пулей лошадь заржала и взвилась на дыбы.

Доржи неудержимо летел вперед. Перед ним мелькнуло чужое, оскаленное гримасой лицо. Змеей блеснула шашка, стрелять было уже поздно. Привстав в седле, Доржи взмахнул винтовкой. Шашка, сверкнув, упала под копыта коней, а сам всадник неуклюже сорвался с седла и шлепнулся на мерзлую землю.

Ни один не прорвался.

Доржи, тяжело дыша, смотрел на тонкие желтые лица и впервые за четыре месяца до мелочей ясно вспомнил аил и мертвую Цивильму.

С разъездом был проводник. Двое партизан узнали его: это был богатый бурят Бажаев, эмигрировавший в Монголию из Забайкалья в тысяча девятьсот девятнадцатом году.

Отвечая на сухие вопросы Дамдина, он упал на колени и, цепляясь за мерзлые комья земли, закричал:

— Я вел их, господин, чтобы передать в ваши руки. Будь прокляты эти псы. Будь проклят...

— Все, кто идут сюда с добрым намерением, приходят другой дорогой, — сказал старик.

Пленники не ответили на вопросы, но из сбивчивых ответов проводника выяснилось, что партизанским отрядом была захвачена первая конная разведка из командиров, посланная штабом генерала Сюя на поиски «изменников-бунтарей».

Разведчиков отвели за холм. Опустив глаза, Доржи медленно перезаряжал винтовку, стараясь не смотреть на того, кого надо было уничтожить. Его руки медлили, — это был его первый выстрел по человеку. Откуда-то из глубин его памяти выплыли заповеди Токсом-ламы...

Он закрыл глаза.

— Дзерен, которого ты стреляешь, тебе ничего не сделал, — резнул его слух голос Дамдина. Старик быстрыми шагами подошел к Доржи, прямо глядя ему в глаза, — а этот человек, — он показал на проводника, — несет смерть твоей родине.

Доржи выпрямился. Бурят схватился за грудь. Ударил сухой короткий выстрел. Проводник упал, взмахнув окровавленной рукой. Опустив винтовку, Доржи подошел к нему и нагнулся: пуля, раздробив палец левой руки, ушла в тело.

Вечером Доржи долго сидел один у костра, обняв руками колени. Товарищи оживленно обсуждали события и, наговорившись, стали укладываться спать. Обходя засыпающий лагерь, Дамдин сел рядом с Доржи у костра и понимающе поднял старые, спокойные глаза.

— Помни, брат, — сказал старик, словно и не прерывал разговора со своим цириком, — если любишь друга, умей ненавидеть врага.

Утром пошли в степь убрать тела, чтоб на них не наткнулся случайный разъезд... И страх придавил бойцов. Одного трупа не было. Недобитый Доржи бурят ночью ушел.

— Теперь ждите! Придут мстить. — Дамдин хлопнул по колену: — Удвоить караул! Могут притти в эту же ночь, — и, найдя взглядом Доржи, он показал ему рукой на темные пятна,

оставшиеся на земле: — Вот! А теперь за твой недосмотр отряд своей кровью платить будет. Две-три пули потрать, но знай, что наверно! — добавил он, покачав головой.

Ночью по западной тропинке из сопок в лагерь прискакал Гунджит, без шапки, без седла; соскочив с коня, он бросился к юрте начальника. Доржи не узнал в бледном человеке всегда спокойного брата Максорджапа.

Из юрты вышел Дамдин. Седые брови вплотную сошлись на его переносице.

— Товарищи! Наши юрты грабят и разоряют... Избивают детей и женщин.

Ропот волной покатился по толпе.

— По кон-я-ям!

Сопки эхом повторили приказ.

Затопали лошади, засуетились люди, прилаживая седла, винтовки, пояса. Молча, сосредоточенно погнал отряд коней на запад, на первую открытую схватку с войсками.

Густой топот копыт растекался по степи. Отдохнувшие кони быстро вынесли партизан на холм, откуда уже были видны юрты Максорджапа, окруженные толпой всадников.

Старик Дамдин первый с криком пустил коня в долину. Кони неслись с горы, вскапывая замерзшую землю. Засвистели пули, разгоряченные бегом лошади подмяли под себя дозорного, стоявшего невдалеке от юрт. Его крик потонул в мощном топоте. Захваченные врасплох, солдаты стреляли, не целясь, пешие вскакивали в седла, не успев отвязать коней, а те метались, не в силах оторваться от коновязи.

Часть успела ускакать. Отряду досталось девять винтовок и несколько тысяч патронов. Же-

ну Максорджапа нашли с петлей на шее, привязанной к мухлюку. Она была еще жива. Ее с детьми отправили на восток, к пограничным юртам добровольцев.

Вечером, вернувшись в сопки, Дамдин послал гонца к Сухэ-Батору.

Начальник приехал утром, взбудораженный и разгоряченный вестью о схватке. Партизаны встретили его развернутым строем. Сухэ-Батор с радостью осмотрел отряд, сосчитал винтовки и долго расспрашивал Дамдина о продовольствии, о здоровьи цириков, о состоянии коней. Все осмотрел, как свою юрту, а потом открыл митинг.

Слова его звенели в морозном воздухе и, ударяясь о скалы, вновь возвращались к партизанам, точно он говорил десятками ртов:

— Поздравляю вас, товарищи, благодарю за успешный бой. Благодарю от имени всех аратов Монголии, которых вы защищаете. Пусть и следующие ваши бои будут так же удачны...

В тот день добровольческий партизанский отряд Дамдина был переименован Сухэ-Батором в Первый полк Монгольской Народной армии.

ВЗЯТИЕ КЯХТЫ

1

Сюй шел на Кяхту. Не подготовленные к зиме, неожиданно разбитые Унгерном, его отряды отступали на север без теплого обмундирования, без продуктов. Началась реквизиция скота у аратов.

Араты уходили с пути войск, бросали имущество и бежали к границе, в Народную армию.

Хмурым зимним днем полк Дамдина выступил на восток для соединения с частями главкома. Партизаны шли северной дорогой, не таясь. Насторожившиеся монастыри провожали полк десятками глаз. Встречные араты давали муку, махорку, спички.

Вернувшись в знакомые места старой стоянки Сухэ-Батора, Доржи не узнал долины. Лагерь кишел людьми. По ночам десятками огней мигали костры. Паслись кони, шумели цирики. На одного знакомого приходилось десять новых. Были пожилые и молодые, буряты и чахары, монголы и тибетцы. Доржи узнал даже двух знакомых китайцев. Один был старик-маляр, живший в Маймачене, через которого несколько месяцев тому назад Сухэ-Батор переправлял письма в подполье. Второй — его сын.

Полк не нуждался в разведке. Окрестные юрты исправно доносили о всех изменениях во вражеских отрядах. Однажды в лагерь прискакал мальчик. Взволнованный и запыхавшийся, он остановился перед главкомом.

— В местность Шамор пришли солдаты, — задыхаясь, заговорил мальчик, — больше ста... вооруженные... они будут брать сено.

Час спустя цирики хошунов Эрдени-Ван и Сумуя-Бейсе получили приказ — быть готовыми к бою, а Сухэ-Батор со своей частью выступил в Шамор.

В этом бою монгольская армия получила много быков с арбами, десятки оседланных лошадей, винтовки, шашки, патроны. Весть о победе понеслась по степи. Шопотом передавали друг другу счастливую новость. Араты молились:

— Ом Мани Пад Ме Хум. Наверное, среди народных цириков имеются божественные люди.

2

— Ну, смотри в последний раз. Ведь придется метать боевые, а не учебные гранаты, — повторил Намжил.

Засучив широкий рукав халата и откинувшись корпусом, он швырнул гранату, оставив ее кольцо в руке. Саженях в девяти от них фонтаном взрылась земля.

— Вот действие боевой. Только не задержи гранату в руке, — Намжил спустил рукав и отряхнул ладони, — без головы останешься.

Доржи кивнул. Прищурив глаза, он внимательно оглядывал долину. Далеко за сопками угадывалась Кяхта, затянутая серебристой дымкой мороза. В Кяхте окопался Сюй. Кяхту надо было взять.

В полуверсте от палаток степь щетинилась блеском штыков, шумела глухими ударами учебных гранат, трескотней пулеметов и винтовок. Сухэ-Батор готовился к борьбе за Кяхту. Цирики обучались весь день, — нужно было торопиться, чтоб использовать растерянность, охватившую разбитые Унгерном отряды генерала Сюя.

Доржи довольно вдохнул дымный запах костров и прислушался к разноголосому непрестанному шуму лагеря.

Партизанщина кончилась, жила единая Народная армия, связанная общими целями, руководством и дисциплиной.

Восьмого марта лагерь закончил подготовку к

военным действиям для взятия Кяхты. С утра в юрте Сухэ-Батора было тесно и тихо. Штаб слушал текст ультиматума, посылаемого в Кяхту. Из урхо текла ровная полоса света. Высоко подняв бумагу, Сухэ-Батор читал громко и размеренно:

«Письмо главнокомандующего всей Народной армией Монголии Сухэ-Батора командующему китайской армией в монгольской Кяхте...»

В юрту врывался глухой шум лагеря.

«...наша Монгольская Народная армия, — читал главком, — приготовилась к немедленному занятию Кяхты. Однако, желая избежать ненужной гибели многих человеческих жизней, предлагаю вам по получении настоящего письма разоружить всех подчиненных вам солдат и сдать Кяхту. За добровольное принятие нашего предложения обещаю полную гарантию неприкосновенности жизни всех граждан Китая и возвращение их на родину».

Старик Дамдин любовался орлиной повадкой своего молодого главкома.

«...Ответ должен быть дан с подателем сего. В случае отказа от нашего предложения, Монгольская армия перейдет к военным действиям. С привествием главнокомандующий Монгольской Народной армией — Сухэ-Батор».

— Сюй должен сдать Кяхту, — положив бумагу на кошмы, добавил главком, — его солдаты не хотят воевать, они хотят на родину...

— Но Сюй не объявит отрядам о письме! — решительно заявил старик Дамдин.

Главком кивнул:

— Да! И поэтому гонец сам пустит слух по городу. Такой слух быстрее ветра облетит всех солдат.

Письмо должен был отвезти племянник Дамдина, молодой парень, взволнованный и гордый честью, которую оказало ему командование. Увидев вышедшего из юрты старика, он вскочил, оставив недопитую чашку, и подтянул пояс:

— Я готов.

— Допей, — спокойно сказал Дамдин, показав пальцем на воду, — сегодня большой холод. Не горячись! — настойчиво повторил он, заметив нетерпеливое движение племянника.

Ведя в поводу оседланную лошадь, цирик пошел за Дамдином. В юрте главкома он получил конверт и спрятал его за пазуху. Обрадованный ласковым напутствием Сухэ-Батора, юноша вышел, улыбаясь, легко сел в седло и, ударив коня ташуром, поскакал по узенькой тропинке.

Сухэ-Батор и Дамдин вышли из юрты и долго смотрели ему вслед. Дамдин первый повернулся к лагерю.

— Ты беспокоишься, аха? — спросил Сухэ-Батор.

— Гонец может и не вернуться, — просто сказал старик, нахмурив брови, — и мой тебе совет, начальник, — он взял Сухэ-Батора за пояс и снизу вверх заглянул в его большие, внимательные глаза, — не жди ответа. Сразу подготавливай наступление. Мало ли что может быть...

— Ты уверен, что Сюй не сдаст Кяхты, — задумчиво сказал Сухэ-Батор, — ну что ж, ладно. Будем готовы.

Лагерь притих, ожидая возвращения гонца. Цирики грелись у костров. Доржи всматривался в степь, будто мог увидеть за блестящим

морозным туманом, как примут в Кяхте первый ультиматум Монгольской армии. Засунув руки в длинные рукава халата и поджав ноги, он сидел перед костром. Солнце издевалось над людьми, заливая их холодным ледяным светом.

Ждали день. Ждали вечер. Прошли все сроки, — цирик не вернулся.

Дамдин бродил по лагерю, вглядываясь в потемневшую степь. Казалось, его морщины стали резче. Глубокой ночью он направился в юрту главкома, где все еще не потухал свет. Вслед за ним туда вошли Очир-Бато и другие командиры.

— Ну что ж, пора начинать наступление, — твердо сказал Сухэ-Батор. — Ответ не пришел. Помните, товарищи, и пусть знает каждый цирик — это первый бой, решающий судьбу революции. Сейчас Кяхта — ключ к монгольской свободе. Возьмем ее, организуем новое аратское правительство, объявим о наших задачах и обратимся к советской России с предложением о совместном наступлении на Унгерна. Красные помогут!

Через час по полкам объявили о наступлении. У костров цирики сосредоточенно пересчитывали выданные патроны, проверяли винтовки. Пулеметчик Чултум перетирал начищенный до блеска пулемет Кольта: растянувшись на земле, он пробовал прицел и медленно водил чутким дулом по горизонту.

Доржи попробовал лечь на кошму, но все что-то мешало. Намжил, сидевший с ним у костра, улыбнулся:

— Не ложись, все равно не заснешь.

— А может, и убьют меня завтра, — деланно усмехнулся молодой арат, недавно пришед-

ший из худона, и обвел испуганными глазами соседей, ища сочувствия.

Намжил хлопнул его по плечу:

— А может, еще до завтра поперхнешься и умрешь. Когда идешь в бой, брат, о жизни надо думать.

Доржи поднял голову, услышав уверенный голос Намжила. Старый цирик, кряхтя, потягивал чай. В его глазах смеялись красные отблески пламени.

— Да, о жизни надо думать, — он отставил чашку и обтер рот рукавом, — ты вспомни твой аил, твою юрту, семью, овец, — зажмурясь, он медленно растягивал слова, как будто и правда вспоминал свои давно покинутые кочевья, — и пусть трава в степи густая, пусть много молока и мяса, дети растут, а тут все это отнимают у тебя. И кто же? Да тот, на кого ты идешь. Собака! Вор, пришедший на твою землю, отнявший шерсть твоих овец. И вот тогда, — закончил старик, — весь страх пройдет. Встанешь, как волчица за своих детенышей.

Языки развязались. Цирики наперебой стали рассказывать разные случаи из своей степной и недолгой военной жизни. К их оживленному костру подошел пулеметчик Чултум. Намжил, потеснившись, освободил ему место.

Чултум — невысокий, коренастый человек с широким круглым лицом — протиснулся к огню. Чултума считали лучшим пулеметчиком полка.

— У нас — хороший командир, — сказал он веско и спокойно, выколачивая о гутул выкуренную трубку, — а вот сегодня ему нелегко. В Кяхту-то племянник его уехал, он его вместо сына воспитывал...

— Ты думаешь, убили его? — Доржи вскинул глаза на Чултума.

Тот молча потягивал трубку.

— Эх, скорее бы, что ли? — потирая руки, сосед Доржи оглянулся по сторонам.

Небо заволоклось тучами. Стал падать мокрый тяжелый снег. Далеко в белой мгле блеснул свет из юрты главкома. Началось движение. Доржи напряженно всматривался в движущиеся тени. Из темноты вынырнула фигура Дамдина.

— Приготовьтесь, — бросил на ходу командир.

— Наконец-то! — прошептал Доржи, топча ногами полыхающие уголья костра. Намжил подтянул пояс и быстро пошел к лошадям.

По снегу торопливо и уверенно двигались люди, где-то в темноте приглушенно заржала лошадь. Вперед вышли посты, за ними двинулась на Кяхту вся Народная армия.

Снег падал густой пеленой, залеплял глаза. Доржи ежился в седле, холодные поводья обжигали руки. Уши наполнились глухим мерным гулом движения сотен всадников. Кто-то чиркнул спичкой, и сейчас же из темноты донесся сердитый шопот командира:

— Не курить, огня не зажигать.

Они шли темными рядами по долине и вскоре пересекли перевал и хребет Ерен-Нарасу.

Доржи никак не мог представить себе, какою же будет атака Кяхты — эта первая настоящая атака в его жизни. Он ждал боя, чтобы сорвать на враге ненависть, накопленную за десятки лет. Доржи нетерпеливо тронул коленями лошадь, но спешить было нельзя. Перед ним в белом море плыли крупы коней.

Медленно тянулась ночь... Он задремал...

Потом начало светать. Снег поголубел. Из тумана вставали покрытые лесом сопки. Привстав на стременах, Доржи оглядел ряды.

Цирики в бараньих кожухах, желтых полушубках, коричневых, синих, зеленых халатах поправляли оружие, подтягивая поводья, вполголоса переговаривались друг с другом. Обветренные смуглые лица были сосредоточены и спокойны.

Донеслась приглушенная команда начальника, и отряды пошли вперед легкой ровной рысью.

На Шере-бархане главком объехал ряды бойцов.

Внизу, в долине, окутанная голубым дымом, лежала Кяхта. На степи за городом темнели передовые посты противника. По ним головной отряд дал первый залп.

— Впере-е-е-д! — пронеслось над рядами.

Конец команды потонул в бешеном топоте ринувшейся в долину конницы. Доржи заметил, как упали двое постовых, как бросились остальные к городским воротам. Сбоку, с холма, по ним застрекотал пулемет Чултума. Этот грохот, опережавший конницу, бодрил, как айрак. Вокруг бегущих земля вспыхивала пылью. Вылетев вперед, Доржи понял ошибку прицела и с досадой ударил лошадь:

— Опять недолет. Перелет. Ага!..

Один из бежавших упал, взмахнув руками, другой отскочил в сторону и, прихрамывая, продолжал бежать, пока его не смяла правая колонна народоармейцев.

Спустившись в долину, Доржи с досадой

увидел, что Кяхта, с холма казавшаяся ближе, доступнее, как будто отодвинулась, расстелив перед собой ровное полотно степи. Желтая лента дороги из Кяхты к границе покрылась темным живым потоком. Солдаты, пешие и конные, бежали из города. Блеснув на солнце лакированным кузовом, промелькнул легковой автомобиль.

Лошадь Доржи закусила удила. Он летел, пришпорив ее, кричал, сам не слыша своего голоса, судорожно сжимая винтовку. Из городских ворот высыпали на равнину солдаты. Они залегли густой цепью, прикрываясь кочками, кустами. Усилилась трескотня выстрелов. Частый огонь бил в упор по несущемуся отряду, и он сдал, рассыпался, оставив кучу тел.

Отступив, народоармейцы залегли в степи. Бросив поводья, Доржи бил без промаха, — надо было беречь патроны. Вкладывая обойму, он увидел, как с холмов ринулись в долину новые части Народной армии. Захваченный атакой, Доржи вскочил на коня, но его остановил окрик Дамдина:

— На месте! Сейчас отойдем назад! Главком оставляет наш отряд в заслоне.

Лошадь Доржи плясала, чувствуя разгоряченность всадника. Отходя с отрядом, Доржи поминутно оглядывался. Цепи у города пришли в движение, и было видно, что часть перекидывалась на защиту правого фланга. Партизаны Сухэ-Батора уже врывались в город.

— Не стрелять! Беречь патроны! — понеслась по рядам команда.

Доржи засунул руку за пазуху и нашел там только три обоймы. Пожалел, что не догадался подобрать подсумки убитых.

Неожиданный топот и выстрелы оглушили его. Он удивленно поднял голову на резкий окрик Дамдина.

— Приготовиться! Огонь!

Случилось то, что предвидел главком, оставляя здесь в стороне от боя отряд конницы.

Командиры вернули часть солдат, в панике бежавших из Кяхты, обошли за холмами город, вернулись назад и ударили народоармейцам в тыл.

Опять защелкали затворы. Доржи с отчаянием вложил последнюю обойму. Но солдаты разогнали коней и прорвались, не приняв боя. У отряда нехватило людей и патронов, чтобы их задержать. Доржи подскакал к Дамдину — что же? Неужели отобьют теперь, когда Кяхта почти взята.

Не глядя на него, старик сжимал рукоять шашки и лихорадочно искал глазами что-то на опустевших холмах.

— Что же делать? — нетерпеливо крикнул Доржи и вдруг замолк.

С холмов тяжело и глухо ухнуло. За заборами, окружавшими город, взлетел на воздух черный столб земли и обломков. Переведя глаза на Дамдина, Доржи увидел, как преобразилось лицо старика. Привстав на стременах, Дамдин крикнул отряду:

— Наши пушки пришли, товарищи! Готовьтесь к атаке!

Еще один снаряд ударил по вражеской коннице, несущейся к городу. Когда осела поднятая взрывом земля, Доржи увидел, как всадники врассыпную бросились по степи. Третий снаряд ударил опять по городу.

— В атаку!

Старик первый вырвался вперед. Отряд с шашками наперевес летел по равнине. Сзади грохотала пушка. В Кяхте начался пожар. Синеву неба прорезал длинный язык пламени. Отряд домчался до ворот и врезался в толпу защищавших город китайских командиров. Здесь работали только шашки и штыки. Кони мяли копытами людей. Высокий офицер замахнулся на Доржи топором, но тот успел сплеча рубануть его шашкой, и он осел, заливаясь кровью. Стиснув зубы, Доржи отбивался от наседавших на него пеших. Мельком увидел, как покачнулся в седле Дамдин и как он исчез в остервенелой толпе. От взорвавшегося снаряда обрушился дом. Толпа шарахнулась и вынесла Доржи на площадь.

Сразу стало свободнее. Но, отступив в тесные улочки, китайцы опять сгрудились живой пробкой. Рядом с Доржи дрался молодой арат. Он пробился в толпу, но вдруг его лошадь рухнула на колени, — топор офицера подрубил ей передние ноги. Цирика подняли на штыки. Доржи метнулся к товарищу. Один из гаминов, схватив обеими руками шашку, замахнулся на него. Испуганная лошадь взвилась на дыбы, шашка полоснула Доржи по ноге. Ощутив жгучую боль, он зашатался, выпустил повод. Лошадь повернула и понесла его по пустой площади. Она остановилась у забора, беспокойно поводя ушами и вздрагивая. Тело Доржи медленно сползло с седла и тяжело упало на землю. Под разрубленной ногой наплывала темная лужа.

К ночи Народная армия заняла город.

Освещенный заревом, по притихшим улицам проскакал Сухэ-Батор со штабом.

Задержав на площади коня, Сухэ-Батор ог-

ядел своих, и взволнованный голос главкома полетел в ночь вестью о победе:

— Пусть Кяхта зовется отныне Алтан-Булаком — Золотым Ключом. Этим ключом мы отопрем Монголию.

3

Лошадь не отходила от своего хозяина, только поэтому Доржи был замечен и подобран двумя цириками из другой части.

Он очнулся в жарко натопленной юрте. Оглянулся и заворочался, не понимая, где он. От движения заныла тяжелая, как бревно, нога, и Доржи тихо застонал. У очага поднялся человек. Доржи узнал Намжила. Старый солдат осторожно погладил плечо товарища, поглядел в мутные глаза Доржи и покачал головой.

— Опять бредит? — спросил сидевший у очага цирик.

Услышав чужой голос, Доржи забормотал что-то бессвязное и смолк. В тишине юрты ясно слышалось его тяжелое, неровное дыхание. Намжил расправил на нем халат и вернулся к очагу.

— Хоть бы вышла из него болезнь, — сказал он, закуривая трубку, — хороший парень.

Цирик, еще молодой арат, резким движением расшевелил аргал. По кошме с треском рассыпались золотые брызги искр.

— А много наших перебито,—вздохнул Намжил, — много умерло. И Дамдин умер, и Чултум, и Цырен... Эх, не сосчитаешь — сколько.

— Ничего, — отмахнулся молодой, — зато Кяхту взяли. А теперь советские отряды пришли. Вместе Унгерна бить будем...

Ни бои, ни смерть товарищей, ни пережитые тревоги не смогли отнять у него юношеский задор и пылкость. Намжил смотрел на детски свежее лицо товарища.

— Родиться бы тебе лет через десять, — задумчиво сказал он парню, отвечая своим мыслям, — жил бы ты тогда спокойно и весело.

Цирик оторопел и обиженно передернул плечами:

— Ну, это ты зря. Что ж я плохо бьюсь, что ли?

— Эх ты, верблюжонок необъезженный, — засмеялся Намжил.

Парень недоуменно мотнул головой, но, услышав ласку в голосе старика, опять повеселел:

— Ничего. — Он потянулся, расправив широкие плечи. — Много убили? Женщины новых нарожают.

— Ух, парень, у тебя, видно, только это в голове, — отмахнулся от него Намжил.

Они говорили вполголоса, поглядывая на лежащего в углу Доржи. Приходя в сознание, он просил пить. Намжил поил его жирным питательным чаем, заваренным с маслом и мукой.

Лихорадка мучила Доржи четыре дня, потом жар стал спадать, рана перестала гноиться, показалась кровь, свежая и красная.

После трехнедельного лежания Доржи решился, наконец, ступить на пол. Намжил повел его: неловко подпрыгивая на одной ноге, боясь ступить на больную, Доржи добрался до двери, прислонился к косяку, поджал ногу и отер рукавом бледный потный лоб. Намжил широко распахнул дверь. Доржи заморгал, ослепленный великолепием дня, и с жадностью глотал весенний воздух. От слабости закружилась голова.

Он осторожно опустился на порог и сел, вытянув вперед больную ногу.

Весна била ему в лицо птичьим гомоном и свежим ветром. Недавно прошел дождь. Маленькие лужицы около юрты еще не успели высохнуть. В них отражались синее небо и облака. Доржи потянулся, отщипнул комок земли, размял его в пальцах. Земля пахла перегноем и прошлогодними травами. Ему было странно опять видеть ее такой простой, мягкой, готовой кормить стада и людей, — за последнее время она вошла в его сознание черными фонтанами снарядных взрывов: она была жестка, как камень, когда, до крови обрывая ногти, он вкапывался в нее, чтобы уйти от пуль.

Намжил молча рассматривал изменившееся лицо товарища. Доржи сильно похудел, скулы обтянулись. Халат широкими складками висел на плечах. Заметив внимательный взгляд старика, Доржи улыбнулся:

— Смотри. Весна хороша, хороши будут травы.

В этот тихий весенний день ему не думалось о том, что где-то идут бои и степь еще пахнет смертью. Но бои шли. Через шесть дней Намжил ушел со своей частью на восток, а на следующее утро около юрты Доржи стал на привал советский отряд.

Сидя на обрывке кошмы, Доржи часами разглядывал долгожданных гостей. Он поражался тому, что узнавал в отряде и бурят, и русских, и китайцев! Видел молодые и старые лица — с голубыми, темными и серыми глазами. И все они чувствовали себя одной семьей. Возились у костров, гремели котелками и чайниками, смеялись, передавали друг другу недокуренные самодель-

ные цыгарки. У всех были на шапках пятиконечные красные звезды.

Спокойные лица новых товарищей подбодрили Доржи. Он вспомнил слова Сухэ-Батора: «Помощь от красных будет. Большевики не откажут в братской поддержке тем, кто, как и они, борется за свое освобождение. Белый генерал — общий враг».

Это чувство бодрости не покидало Доржи долго после того, как красные снялись с привала, а он остался в Кяхте вместе с другими ранеными и частями, оставленными Сухэ-Батором на охрану города.

Первое время после их ухода Доржи спал почти целыми днями — от слабости и пьяного весеннего воздуха. Но силы возвращались к нему, а с ними опять пришли беспокойство и тревога. Привыкший к походной жизни, он почувствовал себя выбитым из колеи, не знал, куда девать время. Ночью спросонья вскакивал на каждый стук, хватался за винтовку, а потом уже не мог заснуть и часами просиживал у огня или на пороге юрты, глядя на весенний рассвет. Вынужденное безделье убивало его. По нескольку раз в день чистил он и проверял винтовку и опять ставил ее к стене.

Доржи с удивлением понял, что одиночество и созерцание, такие привычные в прежней жизни, теперь мучили его. Особенно болезненно ощущалось отсутствие товарищей. Нехватало напряженной лагерной жизни. Доржи было мучительно думать, что его друзья где-то в походе, может быть в боях, а он здесь, в тепле и безопасности. Эта безопасность стесняла теперь его больше, чем все лишения в строю.

Кяхта полнилась слухами. Разведчики при-

несли сведения о наступлении барона Унгерна на первый красный город Монголии, ставку Временного правительства — Алтан-Булак, о первых стычках советских частей с разъездами белых. Сухэ-Батор готовился к встрече белого гостя. Город насторожился и ощетинился.

Услышав о наступлении белых, Доржи вернулся в свою юрту, разгоряченный и усталый от быстрой ходьбы. Растревоженная нога ныла. Скрывая от самого себя боль и хромоту, Доржи взял блестящую начищенную винтовку и пошел обратно в штаб. Проходя мимо базара, он вздрогнул: воздух наполнился знакомым гулом взрыва, — по городу ударила первая пушка Унгерна.

Хватаясь за заборы, чтоб не упасть, Доржи заторопился. Нога мешала, он мучительно напрягал все силы, чтобы итти быстрее. Лоб покрылся потом. Мимо проскакал первый отряд монгольской конницы, выпущенный Сухэ-Батором навстречу белым. Один из цириков прикрикнул на Доржи, чтобы он ушел с дороги.

Когда, вконец измученный, Доржи пришел в часть, командир высылал второй отряд. Около него стояли двое русских. Невдалеке — красноармейцы, уже готовые к походу, держали лошадей в поводу. Доносились глухие взрывы снарядов и мелкая дробь пулемета. Доржи, подтянув пояс, подошел к командиру:

— Слушай, начальник. Дай мне коня.

Начальник повернулся и, узнав Доржи, махнул рукой:

— Ты шутишь!

Он хотел отойти, но, взглянув на товарища, остановился и схватил его за плечи:

— Да что с тобой? Ты весь белый... Подожди, я скоро освобожусь, — он насильно усадил Доржи под навес и отошел к отряду.

Доржи сидел, сгорбленный, нахохлившийся. К нему подошел русский красноармеец.

— Сайн байна, нухор! (Здравствуй, товарищ!) — смешно коверкая монгольские слова, сказал он и вынул из кармана расшитый кисет. — Енде табак...

Доржи долго возился с клочком тонкой бумаги, пытаясь свернуть папиросу. Присев на корточки, красноармеец подобрал с его колен рассыпанную махорку, быстро свернул толстую цыгарку, отдал ее цирику и бегом побежал к отряду, уже садившемуся на коней.

Доржи посмотрел ему вслед. Дрожащие пальцы теребили папиросу. Махорка тонкой струей сыпалась на землю. Он так и не закурил.

Отправив отряд, начальник вернулся к Доржи:

— Что с тобой?

— Значит, я уже ни на что больше не годен? — спросил Доржи спокойно, только голос его чуть дрогнул.

— Слушай, брат, — сказал командир просто, — не болтай зря. Набирайся сил. Ты будешь нужен на трудное дело. Тебя хотят послать в тыл к Унгерну.

РАССВЕТ

1

Неиссякаемые потоки дождя заливали землю. Свинцовые волны реки стремглав неслись одна за другой, прибивая к берегам грязную желтую пену.

Всадник бросился в разлившуюся реку, ударами ташура понукая лошадь плыть. Лошадь пятилась, фыркала, судорожно поднимая голову, и, наконец, потеряв дно, поплыла. С берега за плывущим всадником следил отряд. Вымокшие, блестящие от дождя кони, храпя, топтались в жидкой грязи. Люди, бледные, нахмуренные и тоже мокрые до нитки, всматривались в воду. Там, плохо видные за густой сетью дождя, темнели в волнах головы человека и лошади. Потом они исчезли на мгновение; показались опять. Человек взмахнул рукой. Сквозь шум ветра и дождя до берега глухо донесся крик.

Река опять опустела.

— Четвертый! — отчаявшийся поручик махнул рукой и круто повернулся к буряту, командиру монгольской части:

— Приказ невыполним. Я не могу посылать людей на верную смерть. Это же бессмысленно.

Бурят молча перевел на него злые зеленые глаза. У поручика на носу повисла капля. Он раздраженно смахнул ее:

— О, господи!

После позорно неудачного похода на Кяхту дивизион отступал, почти бежал от преследовавшей его Народной армии и советских отрядов. Разлившаяся река преградила путь. Унгерн отдал приказ — перейти реку во что бы то ни стало!

Измученные, измокшие люди растерянно топтались на берегу. Лошади по самые бабки вязли в липкой грязи. Поручик повернул коня и, встав в стременах, оглядел дивизию, вернее, то, что от нее осталось. Люди бестолково жались

друг к другу, ожидая переправы. Поручик хотел скомандовать, но махнул рукой, опустился в седло и пробормотал:

— К чорту! Пусть сам разбирается!

По грязи быстро зачавкали копыта, и в толпу, как камень из пращи, врезался Унгерн. Выдавленная копытами грязь сползла в реку.

— Ну что же! — не разжимая зубов, отрывисто спросил он адъютанта, — отчего не переправляетесь?

Нагайка генерала звонко щелкала по мокрой коже сапога.

— Невозможно, ваше превосходительство! — поручик мотнул головой, — люди отказываются. За пятнадцать минут четверо утонуло...

— Если невозможно, значит, на том берегу никого не должно быть! — гаркнул барон, указав нагайкой на другой берег, где виднелись два всадника, и, не слушая ответа, поднялся на стременах.

— За мной!

Крик гулко прокатился над притихшим отрядом.

— Это невозможно, генерал!..

Унгерн отмахнулся от адъютанта и первым бросился в реку. Лошадь вошла по колена, по грудь — ноги Унгерна ушли в воду — и поплыла. За Унгерном бросился бурят и весь поток всадников. Шелест дождя, крики, ржанье лошадей, плеск воды смешались в сплошной гул.

Течение снесло плывущих вниз, на отмель. Пришпорив коня, отряхиваясь, как собака, Унгерн первым выбрался на песок. Он потерял фуражку. Мокрые волосы облепили маленькую голову. Не оглядываясь на реку, еще кишевшую

людьми, он дернул поводья, и лошадь вынесла его на твердую землю.

Унгерн остановился, повернулся и, закусив губы, наотмашь ударил нагайкой по лицу первого, выплывшего за ним, всадника. Тот выронил поводья и, охнув, схватился за лицо. Из-под пальцев выползла алая струя крови.

— За что, ваше высо...

— Сволочи! — Унгерн бил второго, третьего, сосредоточенно целясь, по лицу. Говорил сдержанно, так, чтобы было слышно только близстоящим. — Сволочи! Если невозможно, ни одного не должно было быть здесь!

Первые отъехали с наискось рассеченными лицами. Потом, когда нагайка растрепалась, удары стали мягче. Ошеломленный поручик подъехал к барону. Унгерн в упор посмотрел на него, молча отшвырнул нагайку и поскакал за отрядом.

Утонуло двадцать два человека.

Перейдя реку, отряд пошел тихо. Кое-как выбрали место для стоянки и разбили лагерь. Солдаты, тяжелые, как кули, с трудом слезали с коней и валились на мокрую траву.

Уже стемнело, когда стал стихать дождь. Облака разорвались, показались звезды. Терпко и пряно запахла влажная земля. Неслышно поднимались прибитые дождем травы, с дерева вспорхнула большая птица, и ветви обрушили на людей густой дождь звонких капель.

Люди зашевелились. Лошадей стреножили, отвели на луг. Пошли в рощу за хворостом. Под ногами затрещали сучья. Послышались голоса, ругань — лагерь очнулся.

Унгерн сидел на пригорке, мокрый и продрогший. В сапогах хлюпала вода, но он не разде-

вался (не хотелось при всех обнажать свое обыкновенное человеческое тело). Когда в темноте и шорохе лагеря вспыхнул первый костер, Унгерн толкнул лежавшего рядом адъютанта:

— Подите, найдите ординарца. Чтоб сучьев набрал...

Поручик поднялся, что-то сердито бормоча под нос. Унгерн рассеянно смотрел на костер и ковырял в зубах прутиком. Мысль работала лихорадочно. Все, кажется, было размечено, предусмотрено: к югу от Косогола — бригады полковника Казаранди, в Урянхайском крае — Казанцев, отряды Кайгородова, бригады Резухина; точно выработанный план атаки Кяхты, потом поход на ДВР. В результате — уйма потерь. Вспомнив, как быстро и организованно сдавались в плен народоармейцам завербованные им вновь монгольские цирики, Унгерн с сердцем отбросил изжеванный прутик:

— Красные сволочи! Они имеют тыл!

Вернулся поручик с ординарцем, несшим охапку хвороста. Отсыревшая кора долго не хотела разгораться. Поручик матерился, чиркая спичку за спичкой. Унгерну надоело ждать:

— Подите, возьмите головню у них, — он кивнул на солдатские костры.

Ординарец вернулся с головней, разжег костер, поставил котелок с водой. Унгерн придвинулся к огню, покосился на раздевавшегося поручика и тоже снял халат и гимнастерку. По продрогшему телу прошла первая приятная струя тепла.

— Слушайте, поручик! — не поворачивая головы, обратился он к адъютанту. — Вы разговаривали с посланным. Почему Казаранди при отступлении потерял столько людей?

Поручик жадно хлебал чай из жестяной кружки:

— Да потому, что отступал, как черепаха! У них, видите ли, обоз и запасы вооружения негде было оставить. Он в авангард послал обоз, а сам охранял его с тыла. Все время отбивался, чтобы дать обозу уйти. Ну и отступал, конечно, несколько суток! А теперь вооружение есть, а вооружать некого, столько людей потеряли!

Унгерн взглянул на лагерь. В нескольких саженях от него у костра солдаты раздевались догола, даже не глядя на командира. Отжимали портянки, рубахи. Один — высокий и худой — босиком пошел к соседнему костру просить соли. Не было никакой дисциплины, во всем чувствовались растерянность, разнобой.

Нахмурившись, барон отвернулся. Он посмотрел на голые тонкие ноги поручика и, невесело скривив рот, сказал:

— Слушайте, поручик! Почему у вас такие анемичные ноги?

— Не все же сложены такими Аполлонами, как вы! — сердито огрызнулся тот, и, когда Унгерн резко повернул голову на неожиданно дерзкий ответ, он зло повторил: — Да, да, такими Аполлонами, как вы!

— Молчать, щенок! — сквозь зубы сказал Унгерн, оттопырив нижнюю губу и положив руку на кобуру нагана.

— Молчите сами! — истерично крикнул поручик. — Можете расстрелять меня, — у него сорвался голос, — да, да! Мне совершенно наплевать на это. Поняли? На-плевать! Лучше сразу сдохнуть, чем тонуть в этих проклятых лужах...

Унгерн, не отрывая глаз, смотрел на офице-

ра. С ног до головы медленно оглядел тощую, съежившуюся фигуру и неожиданно усмехнулся:

— Вы похожи на крысу, — сказал барон, смачно отпечатав последнее слово. Его рука машинально постукивала по кобуре. — Я не расстреляю вас. Сохните!

Офицер перевел дыхание и сразу как-то обмяк.

— А знаете, поручик, — помолчав, тихо сказал Унгерн, — ведь ваша наглость гораздо показательней сегодняшнего отступления.

Адъютант растерянно пожал плечами.

— Да, да, показательней! — повторил барон, — а потому — страшнее! Нет, я не буду пить чай, — он отставил кружку, пододвинутую извиняющимся поручиком. Поднялся и ушел.

2

Брусника поспевала. Ее ягоды рассыпанными бусами блестели в густой зелени мхов и листьев. Доржи, привычно прихрамывая, бродил по каменистой полянке сопки. Он поглядывал на солнце и нетерпеливо жевал стебелек травы. Подходил конец его напряженной работе в тылу у белых.

Сентябрь, зрелый и сытый, ярко расцветил тайгу. Лес пестрел краснеющими листьями осины, мягкой хвоей лиственниц, золотом берез. С могучих, разлапистых елей срывались перезревшие шишки и мягко падали в траву.

В четырех верстах от этой сопки, в горах, засел отброшенный от Алтан-Булака и из Урги недавний диктатор Монголии, «дающий развитие государству великий герой», генерал-лейтенант барон Унгерн.

Опершись на ствол, Доржи напряженно всматривался в густую зелень леса, откуда обычно приходил связник. Сегодня он почему-то запаздывал, и Доржи нервно перебирал пальцами обтрепанное орохомчи, — работая в тылу у Унгерна, он всегда ходил в старом рваном халате бродячего ламы.

Лес шумел, величественный и теплый. Доржи прислушался, — в несмолкаемый, ровный шум листвы вошел посторонний звук. Хрустнула ветка, другая,— кто-то шел. В лесу не было тропинок, не могло быть случайных прохожих, — шел или тот, кого он ждал, или враг. Совсем близко затрещали сухие ветки, и на полянку выбрался Джадамба, сосед Доржи по аилу, год тому назад нанявшийся в войска барона.

— Все хорошо? — быстро спросил Доржи, сжав руку цирика.

Тот спокойно кивнул, снимая с лица налетевшую паутину. Они сели, поджав под себя ноги, Джадамба говорил торопливо, вполголоса:

— Все готово! Воззвание ваше разобрали сразу. Многие бегут...

— А что генерал? — перебил Доржи.

— Ординарец рассказывал, вчера генерал очень сердился. Из Урги пришло известие — командующий монгольскими войсками Жигмит-Жамбалон и баргинец Лупсан третьего дня сбежали на машинах в Манчжурию!

— А что говорят цирики? — спросил Доржи.

— Я сказал — все готово! Цирики недовольны. Недавно еще двое ушли. Их догнали и нагайками избили досмерти.

— Так когда же, — Доржи поднял глаза на Джадамбу, — когда думаете взять его?

— Может быть, и сегодня! Ждут, когда останется один. Жалко тратить людей на собаку!

Солнце ушло за лес. Сосны сразу потемнели, а от земли потянуло свежестью. Они поднялись.

— Ну, хорошо! — Доржи подтянул орохомчи, — сюда я больше не приду. Как только возьмете — шлите человека к нам, — он махнул рукой на юг, где стояли в степи части Народной армии.—Ты знаешь, где мы. Ну, иди, брат. Будем ждать!

Он крепко тряхнул руку цирика и, подождав, пока затихли в лесу шаги, стал подниматься по крутому склону холма в противоположную сторону. У склона сопки, в кустарнике, его ждала стреноженная лошадь.

3

День измучил неожиданной в сентябре жарой. Унгерн бродил по палатке, задыхаясь, с раскрытой мокрой грудью. Остановившись у открытого входа, помахал на себя обрывком старой харбинской газеты и досадливо отшвырнул ее — раскаленный воздух был неподвижен. Выругавшись, он растянулся на кровати.

Адъютант, сидя у маленького кривоногого столика, молча потирал потный лоб. Когда Унгерн лег, поручик, отдуваясь, пошел в угол и открыл небольшой чемодан из хорошей желтой кожи.

— Вы что ищете? — не поворачивая головы, спросил барон.

Поручик, кряхтя, продолжал рыться в чемодане:

— У моряков полагается, говорят, на экваторе ежедневную порцию спирта выдавать, для

понижения температуры. Не думаю, чтобы экватор был жарче сегодняшнего пекла! — заключил он, вытащив, наконец, нераскупоренную бутылку коньяка.

Он подошел к столу, пошарил в карманах, нашел перочинный нож и отковырнул пробку. Золотистая жидкость полилась в чайный стакан. Унгерн потянул носом:

— Опять пьете, поручик?

— И вам советую, генерал! — поручик поднес стакан к постели Унгерна. — Последняя бутылка! Настоящий харбинский финшампань!

— Не хочу!

Пожав плечами, поручик отпил полстакана, влил остальное в бутылку и закупорил ее остатками исковерканной пробки.

— А Богдо, говорят, собирается с красными флирт завести! — сказал он.

— Он умный человек! — быстро отозвался барон, как будто слова поручика совпали с его собственными мыслями. — Он умный человек!

— А кого вы называете «умным», генерал? — спросил адъютант слишком громким голосом захмелевшего человека. С жары, на пустой желудок, коньяк ударил ему в голову. Палатка сразу показалась прохладнее, положение — не таким безвыходным. Засунув руки в карманы, он подошел к кровати барона и остановился перед ним, чуть покачиваясь на носках.

— Умным я считаю человека расчетливого, понимающего свои выгоды, — ответил Унгерн, не задумываясь, — а хутухта, без сомнения, является таковым!

— В таком случае, поступите умно, генерал, давайте уедем отсюда, пока есть автомобиль и

пулеметы. Подумайте сами. — Глядя помутневшими глазами на барона, поручик присел на кровать.

Унгерн невольно отодвинулся.

— Подумайте сами! Ведь у вас никого не осталось. Резухин убит, на Хоботова надеяться нечего. Жигмит и Лупсан сбежали...

При этом напоминании Унгерн болезненно поморщился.

— И Иосихара и Кондо! Все! Начисто смылись...

— А что пишут из Харбина, помните? — продолжал поручик. — Патронов нет...

— Видно, плохие у них времена, если оказалась трезвая минута написать письмо! — криво усмехнувшись, перебил его Унгерн.

— Надо бежать, ваше превосходительство, вот что! — решительно заявил поручик, поднимаясь с кровати, — пока есть машина, пока еще можно прорваться через сопки. Скоро поздно будет! Резухина-то, вон, свои же солдаты убили!

— Никогда! Слышите, вы! Никогда! Пока останется хоть один красный, которого я смогу расстрелять, — не уйду! — Унгерн порывисто вскочил с постели и подошел к адъютанту. Жестокие глаза в упор смотрели на офицера. — Не уйду! — закончил он и, оглядев адъютанта с головы до носков пыльных сапог, добавил медленно, отчеканивая каждое слово: — А сами можете убираться ко всем чертям! Мне трусов не надо!

Поручик, нахмурившись, пробурчал что-то неопределенное.

— Чорт с вами! — бросил ему Унгерн, запахнув халат и обматываясь поясом. Обдернув

складки яркого шелка, он поправил георгий на груди и вышел. У коновязи ждал заседланный конь...

Нелепый разговор вконец испортил настроение. Мысль о бегстве неотвязно преследовала барона после отступления под Кяхтой, но выслушать такой совет от подчиненного было оскорбительно. Еще острее почувствовал Унгерн свое полнейшее одиночество. Шевельнулось желание повернуть коня в сопки, к манчжурской границе, но усилием воли он переломил себя и поскакал к дивизиону. Потом замедлил бег, и лошадь легкой рысью пошла вдоль расположения унгерновских войск.

Все было в порядке: палатки, повозки, невдалеке табун. Но несколько лошадей почему-то стояли заседланными; Унгерн придержал коня и направился к палаткам.

Вдруг неожиданно звонко в мягкой тишине летнего вечера прожужжала пуля. Еще одна всхлипнула, зарываясь в песок почти у самых ног коня.

Унгерн густо покраснел, резко дернул повод. По направлению выстрелов понял — стреляют из пулеметной команды, и стреляют в него.

Вздрогнувшая от шпор лошадь рывком понесла Унгерна к палаткам сформированного им самим Монгольского дивизиона. Краска на лице барона сменилась прозрачной бледностью. Тишину уходящего дня прорезала громкая команда:

— Все! Строиться!

Люди выбегали из палаток, на ходу заматывая пояса. Быстрее, чем обычно, выстроился дивизион.

Унгерн обвел глазами людей. В мозгу

напряженно билась мысль — один или все?

Он увидел спокойные выжидающие лица. Под пристальным взглядом барона один из цириков, пожилой высокий монгол, опустил глаза. Унгерн почувствовал, что необходимо что-то предпринять сейчас же, немедленно.

— Два шага вперед! — резко и громко скомандовал он цирику.

Тот замялся, быстро оглядел своих. Над людьми нависла глухая, тревожная тишина. Стало слышно, как стрекочет в траве кузнечик.

Унгерн повторил команду еще отрывистее и положил руку на кобуру револьвера. Цирик сделал два шага вперед, потом вдруг, не глядя на барона, подбежал и схватил его лошадь под уздцы.

Резко откинувшись назад, Унгерн выхватил наган и в упор выстрелил в голову монгола. Оглушенная лошадь взвилась на дыбы и забилась на месте, схваченная десятками рук. Унгерн молча, стиснув зубы, выпустил в толпу все пули. Раздались крики раненых. Барона стащили с коня. От резкого удара по лицу у него потемнело в глазах. По толпе прокатился чей-то резкий окрик:

— Не бить!

Толпа отхлынула, обезоружив Унгерна и связав ему руки. Рослый цирик подвел его испуганную, дрожащую лошадь и указал на седло:

— Садись!

Перед глазами плыли зеленые круги. Унгерн машинально занес ногу в стремя и покачнулся, потеряв равновесие. Цирик поддержал его снизу. Лошадь успокоилась, почувствовав хозяина. Унгерн огляделся кругом, словно не понимая, что же случилось. Дернул кистью руки, чтобы

согнать комара, почувствовал боль от врезавшегося в тело тонкого ремня и тогда понял. Это был конец. Молнией пронеслась в мозгу вся недолгая и по сути бессмысленная жизнь. «Почему сразу не убили, — подумал он, — и тут же сам себе ответил: — Значит, будут пытать!»

Цирики столпились вокруг убитого товарища и о чем-то тихо разговаривали. Унгерн перевел глаза на цирика, державшего под уздцы его лошадь. Тот, встретив его пристальный взгляд, поднес руку к щеке и спросил по-русски:

— Помнишь?

На щеке светлел длинный шрам от нагайки.

Барон вспомнил отступление под Кяхтой, переправу через реку и последним усилием воли расхохотался в лицо монголу.

— Мало ли я всякой сволочи перепорол?

По лицу бойца прошла дрожь, но он ничего не ответил.

Несколько верховых окружили лошадь Унгерна, взяли за поводья и на рысях пошли из лагеря. Солнце зашло. С сопок потянулись синеватые тени, в прозрачном небе резко выступили острые зубцы гор. Кони мягко топали по густой нетронутой траве.

Стянутые узким ремнем руки больно затекли. Унгерн передернул плечами. Восемь пар глаз впились в него, следя за каждым движением.

— Я безоружен. Вы меня все равно убьете. Развяжите руки, хочу покурить, — сказал он, медленно и ясно отчеканивая слова.

Монголы перебросились быстрыми непонятными словами, придержали коней, и едущий рядом развязал тугие узлы ремня.

Размяв затекшие пальцы, Унгерн исподлобья взглянул на цириков и быстрым движением со-

рвал подкладку левого обшлага, где всегда носил цианистый калий, зашитый «на всякий случай». Случай пришел, — но Унгерн глухо выругался и поднял потемневшие глаза на монголов: яда не было. По смуглому лицу того, который развязал барону руки, промелькнула усмешка. Унгерн понял: ординарец вынул яд, когда утром чистил халат...

Ему больше не связывали рук. Цирики ударили коней и поскакали. Унгерн дышал полной грудью, как будто хотел вобрать в себя весь свежий ночной воздух. Он перевел глаза на цириков, скакавших рядом с ним, и невольно нахмурил брови, — в ярком лунном свете люди показались ему зеленовато-белыми, как мертвецы.

Доржи увидел Унгерна поздно ночью, когда отряд передал его частям Народной армии. Красные — и русские и монголы — ждали барона. Люди смотрели ему вслед, когда его провели между кострами цириков в юрту командира.

Унгерн показался Доржи пыльным, серым, как летучая мышь.

— Почуял смерть! — сказал Намжил, облокотясь на дуло винтовки и проводив глазами Унгерна.

Доржи не мог уснуть всю ночь. Никак не мог связать в одну цепь свои разбежавшиеся мысли. Попробовал лечь, но не спалось. Встал и опять вышел на улицу.

На густом синем небе крупными искрами горели звезды. Влажная от росы трава мягко ложилась под ноги. Отойдя от лагеря, Доржи оглянулся: из полуоткрытой двери юрты командира

струился свет. Начальник допрашивал пленного барона Унгерна.

Выйдя в степь, Доржи остановился, жадно вдыхая густые запахи уходящей ночи. На востоке желтела бледная полоса зари, и черные силуэты спящего стада четко вырисовывались на синем небе.

Над страной медленно вставал рассвет...

ЗАСУХА

Пальцы ламы перебирали желтые четки. Окутанный густым дымом очага, неподвижный, он был похож на Будду. Широко открыв блестящие черные глаза, Денсима слушала. Твердя нараспев молитву, лама пристально смотрел полузакрытыми глазами на ее красивое лицо. Девушка почувствовала его тяжелый взгляд, покраснела и выбежала из юрты.

За дверями было жарко и шумно. Араты снимали юрты, увязывали кошмы, бурдюки. Солнце безжалостными лучами заливало степь. Пересохшая земля забыла, какой бывает дождь.

— Молится? — спросил сосед зажмурившуюся от солнца Денсиму.

Он подошел к юрте Мункхо и прислушался. Из-за двери доносилось глухое бормотанье монаха, — лама молился о дожде. Арат долго слушал. Потом, вздохнув, оглядел небо, но синие равнины были попрежнему безоблачны и чисты.

Вечером, распустив грязный жгут чесучевого пояса, лама вышел из юрты осмотреть свою лошадь и приготовленного аратами барана — плату за молитвы. Он постоял, потянулся большим

грязным телом и опять перевел глаза на Денсиму, доившую коз.

На ночь Машик постелила ламе лучшие кошмы. Он сел на постель, тихо сказал что-то ей на ухо, она, нахмурившись, взглянула на Денсиму. Лама ждал, постукивая пальцами по кошме. Машик поджала губы и, молча кивнув, вышла из юрты. На улице ее догнала дочь:

— Буду спать в мухлюке, мама?

Мать посмотрела на нее и, взяв в руки голову девушки, крепко прижала к своему лицу. Денсима засмеялась, удивленная неожиданной лаской.

— Как стемнеет, снесешь ламе кумыс, — сказала Машик, погладив плечи девушки.

Девушка вскинула на нее блестящие глаза:

— Почему?

— Все, что велит лама, — закон. Все, что он делает, — свято. — Голос матери был почтителен и строг.

Утром аил ушел кочевать по степи. Искать новые травы и ждать обещанного ламой дождя.

Машик молча смотрела на усталые, обведенные синевой глаза Денсимы. Отец тронул коня, пошли верблюды.

Денсима оглянулась: у колодца на вытоптанной черной земле остались только кучи пепла да старые, грязные тряпки. Пепел развеется по ветру, тряпки утащит в гнездо свое беркут, и станет степь опять дикая и пустая.

Через несколько недель Денсима заболела, и Мункхо, встревоженный нездоровьем дочери, пригласил из соседнего монастыря лекаря-ламу.

Толстый лекарь осмотрел девушку. Его длинный ноготь указал на красные пятна сыпи, покрывающие смуглую спину. Мункхо молча качал головой.

— Яр байна, — равнодушно сказал лама, поднимаясь с кошмы и отряхивая пыль с халата,— сифилис.

Денсиму знобило. Торопливо надевая халат, она никак не могла попасть в рукава. Кое-как замотав пояс, девушка вышла из юрты, не взглянув ни на отца, ни на ламу.

— Сердитая стала, — вздохнул Мункхо вслед дочери.

— От болезни, — сказал лекарь.

Денсима ушла за юрту, в степь, и легла ничком на еще влажную весеннюю землю. Ей было обидно. Она делала все, что ей говорили: пила сулему, настойки из трав, не ела жирной баранины. Отец угонял в монастырь лучших баранов из стада, но бараны уходили, а болезнь оставалась.

Денсима рассеянно сорвала молодой листик и растерла его в руке. Сочный запах свежей зелени защекотал ноздри.

Она оглядела степь, небо, прищурилась на солнце, вспомнила холодную руку ламы и заплакала, уткнув лицо в рукав старого, пропахшего дымом халата.

Когда проводили лекаря, Машик долго искала Денсиму по аилу. Заметив в степи темное пятно, она подошла к дочери, села рядом, поправила ее сбившуюся косу. Денсима молча уткнулась ей в колени заплаканным лицом.

— Не плачь. Мы укочуем в город.

Мать говорила тихо и медленно, нагнувшись к самому уху Денсимы.

— В городе дядя Доржи. Он большой начальник. Он поведет тебя к русскому доктору. Будешь опять здорова и красива, как оленья ножка. Не плачь!

И Машик нежно обеими руками пригладила жесткие черные волосы Денсимы.

Тягучие, как крики верблюда, медные звуки ламских труб растекались по степи. Эти звуки первыми встретили арбу. Денсима понукала быков, усталые животные торопились, чуя близкий отдых.

Денсима с нетерпением ждала приезда в Баин-Тумен [1]. Она одна из семьи никогда не была в настоящем городе, где люди живут всегда на одном месте, а крыши храмов красивы, как китайские шелка.

Приближаясь к городу, дорога ширилась. Степь покрылась белыми пятнами юрт. Темнели кучи заготовленного аргала. Собаки лениво лаяли на проезжавших. Верблюды, проснувшись, пережевывали жвачку.

Впереди громоздились монастырские постройки. Дорога терялась в кривых закоулках ламского поселка, юрты тесно лепились одна к другой. Всюду валялся навоз. На повороте, над трупом большой собаки кружились синие мухи. Свернуть было некуда, и арба мягко переехала через труп.

Выехали на площадь. Посредине, обнесенный каменной стеной, высился главный храм монастыря. Старинной позолотой блестели черепицы. На карнизе прозрачного балкона высоко к небу подняли головы два золотых оленя. Солнце сверкало на их полированных телах.

Город был уже виден, на горизонте вместо привычной полосы степи громоздились его постройки, торчали столбы с тонкими проводами.

---

[1] Баин-Тумен — город в Восточной Монголии.

Из десятков труб валил густой дым. Далеко вправо синел Керелюн, и степь по берегам его густо поросла юртами.

Отец отвел арбу к реке. Тяжело опираясь на руки, из мухлюка выбралась Цинде. Сквозь темный весенний загар на ее скуластом лице проступали коричневые пятна. Измятый халат еле сходился на огромном животе. Тяжело переваливаясь, женщина пошла выпрягать верблюда. Денсима, задумавшись, с ног до головы оглядела сестру. Цинде скучала по мужу, ушедшему на призыв в Красную армию.

Мункхо уехал в город за братом. Денсима с матерью отвязала деревянный скелет юрты, вещи и войлок. Выбрав ровное место, женщины ставили юрту. После четырех часов работы юрта была собрана. Внутри было сыро и холодно. Кошмы отдавали росу, впитанную за долгие ночи пути.

Денсима взяла ведро и пошла на Керелюн за водой. С моста к городу подползал караван. Всюду сновали люди. Перебирая янтарные четки, медленно прошел старый лама. Переваливаясь и потряхивая похудевшими горбами, к реке подошли несколько верблюдов. Добравшись до зеленой травы, один из них стал валяться по земле, потом поднялся и закричал, оскалив желтые зубы. Верблюд Денсимы, лежавший у юрты, ответил ему хриплым криком.

Отец вернулся к вечеру с невысоким хромым человеком. Денсима не видела своего дяди уже много лет. Она недоверчиво исподлобья оглядывала его, а Доржи, улыбаясь, смотрел на тоненькую девушку.

— Вижу, Машик, твои глаза и брови только не на твоем лице, — он кивнул на Денсиму. —

А ты не помнишь, какие я тебе сказки про кошек и мышиные кости рассказывал? Меня за них мама часто ругала.

Доржи сел с братом. Подогнув ноги и попыхивая трубкой, Мункхо вполголоса рассказал ему о болезни дочери. Доржи насупился и, бросив быстрый взгляд на Денсиму, сказал:

— Почему же ты только теперь прикочевал? Завтра вечером, Машик, приведи ее в больницу.

Посмотрев на часы, он поднялся:

— Я договорюсь там. Не горюй, Денсима, все пройдет.

Из-за поворота дороги выползла тупоносая машина, за ней громыхала другая, третья. Денсима прилипла к забору. Маленький караван пыхтящих чудовищ быстро скрылся за мостом. Густая пыль, как дым, вилась за ним по дороге.

На улицах среди разноцветных монгольских халатов темнели фигуры китайцев. Проехал водовоз, бочка его, гремя, подпрыгивала на каждой ямке и расплескивала воду.

Денсима с матерью перешли дорогу и по ступенькам поднялись в магазин. Около входа сидели на корточках трое монголов, о чем-то оживленно разговаривая.

Полки в магазине поразили Денсиму, никогда еще она не видела так много материй сразу. Продавец развернул перед ними разноцветные куски, один другого прекраснее. Денсима удивилась: простой белый шелк, белый без единого пятнышка или цветка, очень тонкий, стоил дороже красивых ярких, как огонь, тканей; она выбрала большой кусок оранжевого шелка и обвязала им голову.

Вечером Машик повела Денсиму к доктору.

Рассматривая белое здание больницы, Денсима вспомнила душные постройки ламского монастыря, стеной обрубленных стволов скрывавшего от посторонних глаз свои тайны.

В приемной Денсиме ударил в голову непривычный, острый запах. Толстая светловолосая женщина в белом халате поздоровалась с ними по-монгольски. Говор ее был медленен, но понятен. Машик обрадовалась, услышав монгольскую речь в устах русской, и начала рассказывать о болезни дочери.

РОДЫ

1

В больнице Денсима познакомилась с медицинской сестрой Нарин-Бутит. Когда она впервые увидела Нарин, ей не понравились некрасивое мужское лицо девушки и угловатые движения. Денсима была красива и отнеслась к Нарин несколько свысока, но прошли недели, и она почувствовала в этой угловатой девушке большую доброту и подружилась с ней. Нарин познакомила Денсиму с городскими девушками, побывала с ней в кино. Все было странно и заманчиво. Новые подруги уговорили Денсиму сменить неуклюжие гутулы на тонкие сапоги с узкими подошвами. Ей очень нравился стук каблуков.

Постепенно стало забываться прошлое лето, сухое и жаркое, отравившее ей кровь.

В Баин-Тумене в юрту Мункхо стал ходить Иши — лама городского монастыря, высокий и жилистый. Вечерами он часто сиживал у очага и пил маленькими глотками горячий чай.

Он молчал, слушая рассказы девушки о русской эмчи[1] Максимовой, о Нарин, о кино. Только однажды, когда Денсима сказала, что была вместе с подругами на собрании ревсомола, тонкие пальцы Иши сжались, и четки янтарными брызгами рассыпались по кошме.

Цинде лама Иши сказал, что муж ее сделал плохо, уйдя на призыв: за это могут разгневаться боги. Цинде плакала долго и тихо, пока не заснула.

Иши-лама вел с отцом долгие речи. Часто рассказывал о далекой, туманной стране на востоке, народ которой мал ростом, но велик и могуч. У людей этой страны глаза узки, как у монголов и китайцев. Они сильны, они милостивы, — говорил он. Они пришли в Китай и Чахар. Они придут в Монголию. Говорил, что в Барге, за краем монгольских земель, за той невидимой чертой границы, которую больше жизни хранят пограничные посты, есть живой бог.

Еще он говорил: есть предсказание — в новом году будет война, от которой содрогнутся степи и жизнь потечет по новому руслу. Иши-лама сокрушался о тяжком биче неверия, хлестнувшем по монгольскому народу, а отец вздыхал.

Денсима задремала, клубком свернувшись на кошмах. От назойливого шопота ламы и душного чада очага сны ее были беспокойные и тяжелые...

По равнинам шли маленькие узкоглазые люди. Небо за ними пылало огненным заревом. Маленькие люди захватывали пастбища, горы, жадно рылись в каменных недрах... А руки их все росли и росли. Они жадно мяли страну, как

---

[1] Эмчи — врач.

масло. Только — капли, сочившиеся между крепкими пальцами, были густы и красны.

Потом люди спрятались за сверкающим конем. Конь медленно пронес мимо Денсимы живого бога. У всадника было мертвое лицо куклы, а из пустых глазниц маски смотрел раскосый прищуренный глаз.

Бог двигался в грохоте ламских бубнов и труб. Тяжелое имя его брякало, как железо, — Банчен-Богдо... Банчен-Богдо [1]...

Денсима закричала во сне и проснулась. В юрте было темно. Угли догорали красноватыми искрами. Отец спал у себя на кошме, с головой укрывшись халатом.

Много вечеров Денсима проводила с Доржи. Он часто приходил в юрту, и девушка опять привыкла к нему. Доржи пил чай, играл с отцом в шахматы, а потом уходил с Денсимой к стадам на другой берег Керелюна за китайские огороды.

Они подолгу сидели на пологом берегу реки. Доржи был первым человеком в жизни Денсимы, который так бесстрашно и непочтительно отзывался о ламах.

Денсима рассказала ему о предсказаниях Иши-ламы про мужа Цинде. Лицо Доржи сразу стало настороженным.

— Даши вернется из армии умнее и здоровей, чем был. Запомни это, — сказал он, нахмурив лоб. — Он негодяй, этот Иши, если заводит

---

[1] Банчен-Богдо — крупнейший тибетский лама («Живой бог»), живущий в Манчжурии; пользуется особым покровительством японцев и группирует вокруг себя реакционные силы, направленные против Монгольской Народной Республики.

такие разговоры... Он такой же дармоед и врун, как и вся его братия. Все они работают на пользу князей.

— Но ведь князья вместе с вами дрались против японцев и белых? — запальчиво повторила Денсима слова Иши-ламы.

Доржи усмехнулся:

— Да, они дрались, чтобы отнять у японцев монгольские степи и стада, но на следующий день после победы революции они повернули свои винтовки против арата, чтоб опять запрячь его в кабальное ярмо. Ламы лгут, Денсима! Ты еще очень молода, но и ты уже получила урок. Они лгут.

— Откуда ты знаешь? — настойчиво спросила девушка.

— Я тоже был ламой. Я знаю. Лама может заразить сифилисом, но он не может вылечить от него. Иначе разве было бы у нас столько безносых, — он набил трубку и затянулся. Денсима молчала. — Послушай, что сделали ламы в Дариганге. Прошлым летом, — продолжал он, — у многих аратов скот стал болеть воспалением легких. Особенно тяжело болели быки. Араты не знали, что делать. Тогда ламы из тамошнего монастыря сказали, что за высокую плату они берутся вылечить скот. Араты собрали деньги и отнесли в монастырь. Ламы достали китайскую картинку, где был нарисован бык, взяли переводную бумагу и наделали множество таких картинок. Потом снесли эти картинки аратам и велели надеть их на шею больным быкам. Вот и все, — закончил Доржи и, обернувшись, посмотрел на Денсиму.

— А что же быки? — спросила девушка.

— Пали, конечно, — коротко бросил Доржи,

вынув трубку изо рта. — Как же они могли не пасть? Ну, скажи, как они могли не пасть, если вместо того, чтобы лечить, их обвесили бумажками?

— Я не знаю, — рассеянно пробормотала Денсима, — может быть, это были священные картинки?

— Ты не знаешь? — усмехнулся Доржи. — А я знаю. Жулики они, воры, дармоеды — ламы и твой Иши тоже... Обманщики — вот кто они.

Денсима с ужасом смотрела на Доржи. Она ждала, что сейчас его поразит гнев богов, которых он оскорблял в лице лам. Доржи заметил испуг девушки. Он погладил Денсиму по голове и, улыбаясь, поднялся с травы:

— Ну, пойдем. Поздно...

Возвращаясь из аймачного управления, Доржи часто заходил в китайские лавочки, рылся в их пыльных недрах, отыскивая для Денсимы какую-нибудь безделушку, и с удовольствием смотрел на ребяческую радость девушки, вызванную пустяковым зеркальцем, куском шелка или кольцом. Иногда ему казалось, что он получил, наконец, собственную дочь.

2

Однажды пришло то, чего ждали. Цинде закричала тонким голосом и села на землю, схватившись за живот.

Машик стригла овцу. Она бросила ножницы, подбежала к дочери. Вдвоем с соседкой они ввели Цинде в юрту. Раздели, усадили на корточки, насыпали ей под ноги сухого овечьего помета.

Крик переходил в рев. Денсима еще издали

услышала его, придя домой из больницы. Она облегченно выбежала из юрты, когда мать послала ее за ламой-лекарем.

В пыльной тесноте ламского поселка стояла юрта ламы, которого звали араты, когда женщина обессилевала в родовых муках. Лама запахнул засаленный халат и вылез из юрты. Он был ленив и добродушен. Его шляпа еле держалась на круглой бритой голове, привязанная толстым черным шнуром под подбородком.

За ламой трусила жирная китайская собачонка, похожая на хозяина.

Когда они пришли, у Цинде в страшной натуге посинело лицо. Женщина крепко держала ее под руки.

Лама стал распевать молитвы и кормить Цинде священными тибетскими снадобьями. Цинде проглатывала их и продолжала кричать.

На закате пришел Доржи. Узнав, бросился к Мункхо.

— Сестру из больницы надо. Русскую эмчи надо. Что делаешь? — но, махнув с досадой рукой, отошел, ибо в степи есть пословица: «Пятьдесят собак не разгонишь, старого не переучишь». А брат и Машик были стары.

Лама медленно бубнил монотонные молитвы, искоса поглядывая на роженицу. Вдруг Цинде перестала кричать. Лицо ламы стало серьезным, он быстро засучил сальные рукава халата, подошел к женщине и нагнулся над ней.

Мертвого ребенка зарыли под порогом юрты. Таков был обычай. Лама вздохнул и сказал:

— Значит, не было угодно богам, чтобы в этом теле возродилась человеческая душа. Если б не было молитв, не осталась бы жива и женщина.

Назначил цену за молитву и ушел, надев пу-

шистую шляпу-блин. Китайская собачонка дожидалась его около юрты.

Денсима впервые сердито отказалась гнать барана в монастырь. Погнала мать.

3

Пришло лето, сухое и жаркое. Меньше становилось трав на широких пастбищах вокруг города. Стада уходили дальше от юрт в поисках свежей нетронутой зелени.

Денсима часто уходила в город. У нее вошло в привычку мыть по утрам мылом лицо и руки. Новые знакомства Денсимы, утренние умывания и частые отлучки встретили в семье недоверчиво. Мать перестала хвалить русскую эмчи, — вместе с лекарствами в Денсиму входило что-то чужое.

Однажды Цинде сердито крикнула сестре:

— Ты и Даши навлекли на нашу юрту гнев богов. Лама сказал, что, если бы не ушел Даши в армию, у меня был бы жив ребенок, — и расплакалась.

Денсима возмутилась:

— Гнев богов! Но почему же боги не гневаются на Дулму и Сынге, у которых родились здоровенькие ребята? Ведь их мужья всегда носят военную форму.

Вечерами Денсима приходила на уколы и оставалась иногда в больнице помогать Нарин. Маленькими кусочками марли Нарин быстро перетирала блестящие инструменты. Денсима с завистью смотрела на привычно осторожные движения.

— Как ты можешь так быстро. Я бы, навер-

ное, все переломала, — сказала девушка, с досадой посмотрев на свои тонкие пальцы.

Нарин засмеялась:

— Ты бы делала это гораздо лучше меня. Да, да, — она кивнула головой, заметив недоверчивое движение девушки, и уложила шприц в коробку.

Нарин вымыла руки. Работа была окончена. Девушки подсели к окну. Денсима посидела на стуле, потом спрыгнула и уселась на полу, по-монгольски поджав под себя ноги. Обе засмеялись.

— Теперь я привыкла, — сказала Нарин, показывая на стул, — раньше тоже затекали ноги.

— Ты очень устала сегодня? — спросила Денсима.

Нарин кивнула и потянулась:

— Ведь сейчас мне все приходится делать самой. У нас ушла санитарка, а никого подходящего найти не можем. Вот я зову, зову тебя к нам работать, а ты не идешь, — сказала она.

— Неужели я, правда, смогла бы работать здесь? Ведь, наверное, это очень трудно?

— Будешь смотреть, слушать — и научишься!

Доржи был в юрте один, когда Денсима прибежала к нему. Девушка, запинаясь, рассказала о предложении Нарин. Он вскинул на нее живые блестящие глаза.

— Ну, дядя Доржи? — растерянно спросила Денсима.

Доржи радостно засмеялся и, поднявшись с места, обеими руками крепко обнял ее:

— Конечно, оставайся. Не кочевать же тебе по степи неграмотной до седых волос: жить бу-

дешь у меня. Нарин сказала хорошие слова, — надо учиться.

Он подошел к шкафику, вынул коробку конфет и поставил ее перед Денсимой.

— Довольно мы вслепую пожили. Не умели двух слов прочитать и написать. Знали только скот да ламу. Вам, молодым, надо учиться. Научитесь, тогда кочуйте, учите других.

— Бери вот эту, она вкуснее, — показал он на конфету в зеленой бумажке.

Когда Денсима ушла, Дорджи, выйдя из юрты, долго глядел ей вслед, прислонившись к косяку двери. И повторил вслух сам себе древнюю поговорку: ребенок — благословение богов.

Вечером Денсима рассказала дома о предложении Нарин. Отец промолчал, а мать сердито прикрикнула на девушку:

— Зачем? Лучше молиться знакомому чорту, чем незнакомому богу.

Когда через два дня Денсима опять пришла в больницу, доктор Максимова встретила ее улыбкой:

— Значит, останешься у нас работать.

— Не знаю, согласятся ли отец, мать... — девушка покраснела.

— Оставайся, оставайся! — эмчи потрепала ее по плечу. — Вылечишься до конца, будешь работать, в Улан-Батор учиться поедешь.

Вечером в юрту пришел Иши-лама. Выслушав Машик, он сказал:

— Зачем девушке ходить в больницу? Наружные язвы закрылись, а лечить внутренние болезни русские не умеют. В священных книгах я прочел, что пора бросить лечение у русского врача, — рассердится дух юрты — Герын Этзин.

Денсима насупилась. Эмчи Максимовна сказала: «Если бросишь лечение, болезнь вернется».

Каблуки девушки мягко стукнули о порог. Лама, отставив чай, пристально глядел ей вслед.

«ЦАМ»

Пустая монастырская площадь сжата жарким живым кольцом толпы. Едко пахнет людским и конским потом. Из окрестных аилов, монастырей, одиноких юрт, из города съехался народ в Лама-хит[1] на священный праздник «Цама». Всегда пустынный, Лама-хит кишит, как муравейник, цветет яркими шелками праздника. Саманные крыши строений облеплены людьми. Трубы лам гудят медленно и строго.

Нетерпеливо понукая коня, Денсима втискивалась в потную толпу. Кони храпели, тесня друг друга. Под мокрыми конскими животами пролезали люди, плечами и локтями пробивая путь в живой гуще. Но гуща была туга и утрамбована, как земля. Из-под коня Денсимы вырвался крик. Лошадь наступила на что-то мягкое и последним усилием вынесла девушку в первый ряд всадников.

Перед самыми копытами коней, в два ряда, прямо на песке, сидели араты. От земли вздымались золотистые клубы пыли. Толпа шумела. Поправившись в седле, Денсима подтянула малиновый шелк пояса, отерла с коричневого лица мелкие капли пота.

Посредине площади стояла четырехугольная

---

[1] Хит — монастырь.

палатка с белыми черепами, вышитыми на синих полотняных стенах. Разряженные ламы сидели вокруг нее разноцветными бурханами. Налево от распахнутых золоченых дверей храма раскинулся огромный пурпурный полог, под которым тоже сидели ламы. Вокруг него волновалась толпа, залитая солнечным знсем полудня. Из-под тени навеса к площади тянулись огромные золотые трубы. Они сверкали на солнце и были похожи на языки пламени.

Четырежды заревели трубы. Пробили медные тарелки-цаны, и ламы взмахнули шелковыми платками. Из дверей храма вышла первая пара масок с огромными желтыми лицами. Рот застыл в зубастом оскале, маленькое тело терялось под огромной головой в шорохе шелка, шитья, позолоты и костяных четок. В руках у каждой маски были кинжал и петля.

— Для борьбы с врагами веры! — сказал Денсиме накануне праздника Иши-лама и приказал ей приложиться лбом к священному одеянию масок, чтобы замолить грехи.

Денсима помнила рассказы Доржи и Нарин, не видела за собой грехов, была упряма и решила не послушаться Иши.

Ламы медленно обходили огромный круг площади. Развевались тяжелые одежды, гудели ганглины — ламские трубы. Маски кружились то медленнее, то быстрее. Женщины из толпы пластом бросались на пыльную каменистую землю и целовали следы ламских ног и молились, распростертые в пыли.

Вдруг по толпе прокатился смех. Из храма высыпали на площадь маленькие ламята, маски смерти — «Хахимай». На головах у них белели большие маски черепа. Тело было укутано в

узкий белый саван. Они бегали по кругу, дурачились, поправляли одежды взрослых лам. Толпа любила маленьких, веселых «дзоликов» — чертенят.

Привстав на стременах, Денсима бросила на площадь грузный медный пятак, и в то же мгновение дзолик, кривляясь, подхватил монету. Из-под маски на Денсиму глянуло раскрасневшееся ребячье лицо. Дзолик веселился.

Сильнее завыли огромные трубы, загудели ганглины, зазвенели медные цаны. Уже много масок кружилось по кругу в медленном танце, и каждая из них повторяла движения другой. Синие, черные, желтые маски проносились перед толпой, звеня позолотой, бусами, четками. От них веяло затхлостью монастырских кладовых и едким потом грязного тела.

Ламы звонче ударили в цаны. В кругу медленно танцовала самая страшная маска «Чойжила» с огромной синей головой. Она медленно надвигалась на Денсиму. На толстой шее развевались ленты, куски шелка — дары богомольцев. Женщины отшатывались от маски, закрывали руками лицо.

Все злые духи Монголии смотрели на них из вывернутых глаз Чойжила. В завывании труб было все — и волчий вой, и долгие холодные степные бураны, и страшные муки буддийского ада, о котором говорил в юрте лама. Вот он — злой дух! Он страшен! Зубы его велики и остры. Трупно синеет огромное лицо! Грозно сверкают белки вывернутых глаз...

Денсима в ужасе бросилась с коня, чтобы упасть с другими в пыль, под ноги синему Чойжилу, чтобы прижаться воспаленным лбом к его парчевому халату и вымолить прощение — за

неверие, за сомнения, за непокорность ламе и... обернулась, захлестнутая веселым окриком.

Совсем близко от нее, крепким островом в дрожащей толпе стоял тупомордый, приземистый фордик. В взволнованном людском море он казался незыблемым, как утес. На его лакированной крыше сидели эмчи, доктор Ботрин, дядя Доржи и Нарин. Они смеялись. Их веселый смех успокоил взбудораженную Денсиму. В успокаивающей улыбке Доржи угадывались и ласка и сожаление.

Денсима сконфуженно улыбнулась автомобилю, вытерла платком лицо и, опять усевшись в седло, искоса взглянула на площадь. Прямо перед ней, на скамейке, сидел лама, изображавший Чойжила. Страшная маска лежала тут же, а другие ламы торопливо обмахивали платками красное утомленное лицо ламы. В огромной раскаленной солнцем маске ему было невыносимо душно. Он упал бы, если б его не подхватили. Лама отдувался и утирал испарину.

Денсима огляделась. Праздник как будто сразу полинял в ее глазах. Одежды масок с потертой позолотой и облупившимися четками больше не казались ей красивыми. Ламы танцовали так, точно исполняли тяжелую и надоевшую работу. Лица у них были утомленные и красные.

Денсима устало вздохнула и, натягивая повод, стала пятить коня из толпы.

ВСТРЕЧА

Пришло время откочевки на новые места, туда, где стоят свежие, нетронутые травы, где стада и люди останутся пережидать холодную вьюжную зиму.

Вокруг города все чаще встречались черные, сухие круги от юрт.

Денсима плакала: если б могла, она разорвалась бы пополам. Если б могла, она навьючила бы на верблюжью спину и эмчи, и Доржи, и Нарин и увезла бы их с собой на зимовку. Но они жили в городе, а город нельзя было увезти.

Накануне Иши-лама долго говорил с Денсимой. Он обрушивал на головы русских врачей страшные предсказания священных тибетских книг. Машик полными страха глазами глядела в рот Иши и сокрушенно качала головой. Отец молчал. Денсима, плача, бросилась к матери. Она обещала ламе не встречаться больше с русскими, не слушать советов Доржи и укочевать с родителями в степь.

— Ибо, — сказал лама, — лучшее сокровище — вера. Надо жить так, как жили отцы и деды, незнакомая дорога ведет в ад!

После ухода ламы Денсима тайком все-таки побежала в больницу попрощаться с эмчи и Нарин.

В этот час уже не было приема, но в кабинете доктора еще горел свет, и за занавеской двигались темные тени. Денсима поднялась на террасу, куда выходили двери кабинета доктора и квартиры врачей. На двери квартиры висел замок. Эмчи куда-то ушла. Денсима опустилась на ступеньки и уткнула лицо в колени. Ей не хотелось уходить, не повидавшись с эмчи.

Звезды обсыпали черный бархат неба. За оградой в степи завыла собака. Ночь была тихая и холодная. Где-то далеко горели два огня. Они то пропадали в густом мраке, то вспыхивали снова, — это шли по Буирскому тракту машины. Денсима прижалась к стене и задремала.

Ее разбудил знакомый голос. С кем разговаривал доктор? Денсима подбежала к двери, приложила голову к скважине. Она хотела и боялась вспомнить. С этим голосом было связано что-то страшное... Дверная ручка неожиданно повернулась.

Денсима отпрянула в темноту. Она задыхалась, она не могла поверить. Вслед за доктором, ярко освещенный большой лампой, вышел из кабинета Иши-лама.

Доктор развязывал на руках тесемки халата, а Иши старательно прятал в складки пояса маленький пузырек с белым листком рецепта. Лицо его было растерянно, он боязливо вглядывался в глубокую темноту двора.

— Не бойся! Никого нет, ты же знаешь, что, кроме тебя, в это время никто не ходит, — усмехнулся доктор.

Лама запахнулся орохомчи и ушел.

Денсима не верила своим глазам и ушам. Иши-лама, который проклинал русских врачей, призывал всех злых духов на их головы, запретил Денсиме у них лечиться...

В прохладной тишине ночи звонко щелкнул замок. Доктор снял халат, не торопясь отворил дверь и ушел в комнаты.

Денсима постояла несколько минут на холодной пустой террасе, спустилась по ступенькам и медленно пошла к воротам. Закрыв за собой калитку, нерешительно повернулась было к реке, но потом резко тряхнула головой и быстрыми шагами пошла в город.

Доржи уже спал. Разбуженный настойчивым стуком, он открыл дверь, зажег свет и удивленно оглядел бледную нахмуренную Денсиму. Она заговорила первая, решительно и громко:

— Я встретила в больнице Иши-ламу... Я больше не верю. Я останусь в городе...

Доржи посмотрел на лицо Денсимы и в ту ночь не стал ее больше ни о чем расспрашивать.

Денсима не пошла домой ночевать. Утром Доржи проводил ее к родителям — попрощаться. Юрта откочевала.

ЛАМЫ

Год 1930

1

Весна, бурная и холодная, затянулась. Прибитая ветрами земля насупилась и не давала ростков. Скалы стояли темные и мрачные.

В самом сердце Богдо-Ула притаился монастырь — цепкое горное гнездо. Строения лепились ступенями по камням, вверх к небу, и последние, высеченные в скале, часовни казались из долины птичьими гнездами.

Внизу чернела сосновая рощица. Из-под обломков скал выбивались кривые и кряжистые сосны. Гигантский каменный град упал в древнейшие времена в эту стиснутую горами долину, и она застыла, как была в первоначальном хаосе.

В камнях скот голодал. Баир угонял монастырские стада подальше, на низкие, залитые солнцем, холмы. Там, на ровных пологих склонах, после весенних дождей зазеленели первые травы.

Скот медленно перебирался с холма на холм. За стадом ехали верхами четверо молодых монастырских баньди, подгоняя разбредавшихся коров.

Баир издалека увидел в долине блестящую крышу автомобиля. Он привстал на стременах и окликнул товарищей. Блестящее пятно было неподвижно. Около него двигались черные фигурки людей.

— Они завязли в болоте, — сказал Баир, опускаясь в седло.

— Если засели крепко, можно заработать, — отозвался Цывен, молодой парень, с изрытым оспой лицом.

Ламы переглянулись. Пастухи монастырских стад, они были оборваны и голодны, как бездомные собаки. Почет и богатство давал сан, для получения сана у них нехватало образования, а для получения образования не было денег.

Баир оглянулся. Стадо спускалось в долину.

— Поеду, посмотрю, крепко ли засели. Подождите меня здесь!

Он спустился с холма, перемахнул через ручей, лениво объехал кругом автомобиля, слез с коня и уселся на сухом холмике в двух шагах от болотца.

Машина сидела давно, — шофер и двое пассажиров с ног до головы были покрыты засохшей грязью. Автомобиль урчал, гудел, люди упирались ему в нос и толкали назад. Но колеса вертелись в грязи, как в масле. Машина не двигалась.

Баир понял, что одним им машину не вытащить. Со скучающим видом поднялся и стал медленно поправлять седло. Поговорив между собою, проезжие окликнули Баира. Один ломаным языком попросил помочь машине, достать быков.

Баир еще раз объехал автомобиль и покачал головой:

— Нет, нельзя!

Он убедился, что без быков не обойтись. Других стад поблизости не было. Можно было набить цену. Он потрусил рысцой прочь и, скрывшись за холмом, во весь опор погнал коня к товарищам.

— Самим не вылезти! — объявил он радостно, — подождем, потом поедем вдвоем и сговоримся.

Они выждали время, потом спустились. Машина сидела попрежнему. Баир заломил высокую цену — пятнадцать тугриков, но проезжий махнул рукой и сказал:

— Веди!

Баньди пригнали четырех косматых быков, привезли ярма и ремни и вместе с русскими принялись привязывать быков к кузову машины. Быки одним рывком вытащили машину из болота.

Проезжий отдал Баиру деньги и, смеясь, похлопал по плечу:

— Когда будешь в Улан-Баторе, приходи в клуб. Кино посмотришь...

Парни поделили деньги и, не торопясь, поехали обратно к стадам.

— Хорошо бы попасть в Ургу, — Баир прищелкнул языком, — что-то давно никого не посылали. Ну, уж если я поеду, — как бешеный волк, буду рыскать по городу, все посмотрю, девочку найду красивую!

— Грех, говорит гыскуй, — заметил маленький Бадма, самый младший.

— Что? Грех? А сам-то гыскуй не водит ли к себе араток? Эх ты, суслик несмышленый!

Баньди подъехали к стаду, стреножили коней и уселись на земле.

— А все-таки ничего-то мы в степи не видим, кроме скота, — вздохнул Цывен, — в монастыре и то бывать мало приходится, все паси да паси!

— Вот Санже — удача, — сказал Баир, выплюнув стебелек, — счастливые руки у него, хорошо рисует. За то его и старшие берегут. Я бы на его месте давно отпросился бы в Ургу да погулял бы.

— И почему только он так? — спросил Цывен.

— Такой уж характер, — Баир поднялся и запахнул расстегнутый халат; воздух заметно холодел. — Что хочешь, будет терпеть, только бы не рассердить учителя.

— А все-таки попадет нам, если старшие узнают, что мы заработали на городских, — заметил Бадма. — Красные — еретики!

— Молчи, козявка степная! — прикрикнул на него Баир. — Зачем же тогда деньги от них брал? Одной святостью тоже, брат, сыт не будешь, а старшие о нашем брюхе не особенно заботятся...

Он встал, оглядел стадо.

— Ну, давайте погоним, а то темно!

Уже взошла луна, когда у самого монастыря мимо них промелькнул всадник. Не глядя на лам, он погнал коня на кручу. Лошадь привычно карабкалась узкими тропками вверх, к храмам.

Желтый лунный свет заливал монастырь. Подъехав ближе, баньди увидели коня, привязанного у ограды настоятеля.

2

«Форма лица блаженных Будд—почти круглая, подобная куриному яйцу, а у женских божеств — более продолговатая и похожа на кунжутное зерно».

«У Амугуланту-бурханов очи имеют в ширину четыре ячменных зерна, а в длину двадцать ячменных зерен и имеют форму цветка утбала...»

Санжа нетерпеливо поморщился. Ему было тесно в этих точных рамках, размерах, пропорциях. Они ограничивали его замыслы.

— Слушай, а почему нельзя нарисовать бурхана с другими глазами? — перебил он ламу.

— Что ты! Бурханы с древности пишутся такими. Не следует нам, недостойным, менять старые правила. Слушай лучше... — И старик опять забормотал деревянным языком, затверженные с молодости и памятью, и кистью, правила.

— Учитель, расскажи про художников, каких ты знаешь или знал, расскажи, кто учил тебя?

Санжа придвинулся ближе к старику. Больше, чем уроки, он любил рассказы о живых людях, других монастырях и краях. Перед ним открывались бескрайние разливы степи; невиданные заросли Халхингола, в которых всадник не виден, как мышь; огромный бог, высеченный на горе за Буир-озером. Приоткрывая завесу в памяти старика и возвращая его в кочевые молодые годы, Санжа видел чужой, пугающе прекрасный мир.

Старик охотно уходил в воспоминания:

— ...Далеко отсюда на востоке есть монастырь Югодзыр-хит. Там работает художник Гончик-лама. Боги наградили этого человека большим талантом. Из сухих кусков березового дерева он изготовил изображение бога Майда-

ри, а из разноцветных кусков шелковых материй — облик бога крови Хачит. Это было самое большое искусство, какое я видел когда-нибудь.

— Неужели я никогда не увижу таких вещей! — вздохнул юноша.

— Зачем тебе? В наших кумирнях есть не менее прекрасные изображения богов, скопленные за много десятилетий. Редкий монастырь хранит в своих недрах столько богатств, — гордо улыбнулся старик.

— Это те, что в большом храме? — удивился Санжа.

— Нет, шаби! Они спрятаны в маленькой кумирне, самые драгоценные бурханы! До лучших времен.

— Почему ты не сказал мне раньше? — удивился Санжа, — я хочу их посмотреть!

Лама покачал головой:

— Нельзя, шаби! Кумирня заперта.

— Почему?

— Драгоценные изображения надо беречь. Такова воля Умзашри-ламы. Не нам ее обсуждать.

Оба замолчали. Старик, погруженный в свои воспоминания, что-то беззвучно шептал старческим ртом. Санжа, нахмурив брови, думал о невиданном искусстве чужого мастера. Вздохнув, старик похлопал Санжу по плечу и поднялся:

— Иди, до завтра!

Санжа вытер руки тряпкой, вышел на улицу и столкнулся с загорелым, обветренным Баиром.

На тонком лице Санжи радостно расплылась улыбка.

Обнявшись, они пошли вверх по тропинке к келье Гомбоджапа — высокого ламы, учителя

Санжи. Ветер рвал орохомчи у проходивших лам, отгибал линялые хвосты монастырских псов и порывами доносил из храма воющие звуки молитвы.

Они уселись на пороге гомбоджаповой кельи, где с детства жил Санжа. Здесь было тихо, — гора закрывала от ветра. Баир оглянулся и наклонил голову к уху Санжи:

— У меня есть что рассказать!

— Ну! — Санжа с любопытством дернул приятеля за рукав.

Баир торопливо зашептал ему на ухо и закончил вслух:

— Вот теперь только бы в Ургу пустили!

Санжа изумленно посмотрел на друга:

— Неужели пойдешь?

Баир озорно подмигнул:

— А как же? Неужели такой случай упустить? Посмотрю обязательно!

— Что посмотришь? — спросил Гомбоджап, подойдя сбоку к приятелям.

Оба вскочили. Санжа покраснел, а Баир ответил скороговоркой, прямо глядя в лицо ламы:

— Санжа рассказывал, что сделал красивого бурхана, посмотреть хочется!

— Ну, иди отсюда! — сказал Гомбоджап, нахмурясь.

Баньди ушел.

— Как бы не так! Похоже, что тебе хочется посмотреть бурхана! — пробормотал лама и вошел в келью.

Гомбоджап-лама был озабочен.

— Пойди к Жамьян-ламе, Лхумбо и гыскую. Скажи, чтоб вечером пришли ко мне, — сказал он Санже. — Постой! — вдруг остановил он ученика. — Ты часто видишь Баира?

— Нет, учитель! — Санжа поднял на ламу открытые глаза. — Не часто.

Гомбоджап внимательно посмотрел в лицо Санже, потом улыбнулся:

— Ладно, иди! — и добавил, опуская тучное тело на лежанку: — Он слишком легкомыслен, твой приятель! У него бывают пустые мысли Иди!

Санжа сбежал по тропинке. Баир поднялся с камня.

— А знаешь, опять приехал этот беспалый,— сказал он Санже, — я его вчера видел, когда стадо гнал.

— Ну, значит, у настоятеля хурал будет, и Гомбоджап-лама уйдет на весь вечер; я к вам прибегу, — обрадовался Санжа.

Они кивнули друг другу, и Санжа пошел к старшим ламам.

В келье Жамьяна сидели трое. Хозяин выслушал Санжу и сказал, что придет. Когда шаби вышел, ламы продолжили прерванный разговор. Гыскуй монастыря, высокий широкоплечий лама, вытащил кисет, трубку и покачал головой:

— Да! Югодзыр Ламахай пожить умеет!

Гыскуй прислонился к стене. Из тоненькой трубки поплыла струя ароматного дыма: — Умеет пожить!

Сухой Жамьян-лама хихикнул. Его маленькие глазки замаслились:

— А какое он себе хозяйство устроил! И радость и выгода. Там у него такие девушки в прислугах... — лама закатил глаза и прищелкнул языком.

— Ну теперь-то и его притеснили, — поджав губы, заметил Лхумбо — низенький квадратный

лама большого сана, — а вот когда я у него лет шесть тому назад гостил, так он, бывало, за покупками в коляске ездил! — Лхумбо-лама засмеялся и покачал головой. — Коляску ламы везут, а за коляской пешком его жена идет, — тучное тело ламы тряслось от смеха.

— Но что он правильно сделал, то — правильно, — заметил гыскуй и выколотил о гутул трубку, — купца-советника завел! Лет тридцать у него уж этот купец? — спросил он Жамьяна.

— Около того.

— Этот купец ему до революции такие карточки из Манчжурии доставил, что не насмотришься, — гыскуй покачал головой.

Жамьян-лама прищурился:

— Какие карточки?

Гыскуй отмахнулся, смеясь: — Какие? Сам знаешь, какие...

Лхумбо-лама вздохнул:

— Да! Славный был монастырь! А теперь, вот пишет Ламахай, беднеть начал.—И добавил, пожав плечами:—Виданное ли дело! В монастыре и хубилган есть, а пожертвований мало!

Гыскуй нахмурился:

— А виданное ли дело, чтобы в нашем хито такие маленькие сборы были, как сейчас? Виданное ли дело, чтоб детей вместо монастыря в школы отдавали? Чтоб из-за каждого мальчишки надо было говорить с аратом, пока язык не устанет?

— И все-таки надо бороться за каждого мальчика! — перебирая четки, сказал Жамьян-лама, — неужели ты не понимаешь, — он поднял глаза на гыскуя, — к чему сводятся постановления красных о том, чтоб не брать в монастыри детей моложе восемнадцати лет?

Жамьян-лама поднялся и стал бродить из угла в угол.

— Разве ты сможешь внушить должное почтение к религии и к старшим восемнадцатилетнему парню, который добрые восемь из этих восемнадцати лет проведет в безбожной школе, среди безбожных людей? Ты думаешь, он станет тебя слушать? — Жамьян махнул рукой и остановился около гыскуя: — И мне кажется, — продолжал он, — лучше, если б ты построже присматривал и за нашими баньди. Очень распустились мальчишки!

— Построже? Да чем построже-то?—передразнил гыскуй Жамьяна:—Сам знаешь, что закон не разрешает и пальцем тронуть этих щенят!

Жамьян-лама прищурился:

— Ну, брат, — сказал он, — если мы с тобой законов будем слушаться, то уж лучше сразу аратское платье надеть и в Народную партию записаться! — В кривой усмешке Жамьян-ламы не было смеха. Глаза не улыбались, они были решительны и жестки: — За молодежь мы должны бороться сильнее, чем за деньги!

— Да! — вздохнул Лхумбо, — кто б думал, что придет такое время, — он развел короткими руками, — что рваные араты будут нам законы писать!

— Ну, ладно! — успокоительно сказал Жамьян-лама, — и в море бывают приливы и отливы. Вот сегодня будем у Гомбоджап-ламы, верно есть какие-нибудь вести, — зря не позовет!

Гыскуй и Лхумбо-лама поднялись с подушек:

— До вечера, братья!

Галчонок разевал огромный желтый рот, силился встать, опираясь на крылья, как на руки.

Он был голый, покрытый редким длинным пухом. На крыльях и на лысой голове щетинились будущие перья. Баир осторожно запихивал в розовую глотку маленькие куски мяса. По прозрачной шее мясо медленно сползало в огромный синеватый живот. Галчонок был похож на маленького чешуйчатого дракона. Насытившись, он сразу закрыл глаза и, пискнув, задремал в гнезде из щепок и сена.

— Где ты нашел его? — спросил Санжа.

Баир вытер руки о халат и подсел к товарищам:

— В роще. Там есть гнезда. Наверное, выпал. Пусть живет! — улыбнувшись, добавил он, взглянув на маленький спящий комок, — я в Джаргаланту-хите видел у одного ламы галку. Ходит за ним, как собака. Уже несколько лет у него живет.

Он нагнулся и поправил огонь в очаге.

— Осенью я буду сдавать обеты гецуля, — сказал Санжа и задумался, глядя на трескучие искры аргала.

Баньди сидели вокруг очага в маленькой келье пастухов. Искры с воем вылетали в трубу. Огонь жадно пожирал куски аргала. Развалившись на кошмах, баньди ждали, пока закипит чай. Сегодня был удачный день — по темной глади варева плавали блестящие пятна жира.

— А вот ты скажи, — засмеялся Чултум: — какие боги помогли тебе достать мясо?

Привстав на одно колено, он выловил из котла дымящийся кусок баранины и, обжигаясь, перекидывал его на пальцах, чтоб остудить. Потом запихал в рот.

Баир гордо тряхнул головой:

— Великий идет проторенной дорогой знания.

Баньди расхохотались. Санжа закашлялся, и пятна на его щеках стали густо малиновыми:

— Это, кажется, все, что ты помнишь из наставления Гомбоджап-ламы? — спросил он, отдышавшись.

— Ну, расскажи же, «великий!» — сказал Цывен, — как ты все-таки это сделал.

— Очень просто! Вчера опять пало от недокорма шесть баранов. Я пошел к Нирбе и сказал, что пало пять. Вот и все!

Санжа вскинул на него глаза:

— А если узнают, накажут?

— А если у меня от голода брюхо подвело, а есть нечего, тогда что? А потом, ты знаешь,— Баир уставился на Санжу,—что теперь есть закон, который запрещает высшим ламам бить низших.

Санжа широко открыл глаза:

— Этого не может быть! Откуда ты знаешь?

Баир довольно засмеялся:

— Надо же и нам что-нибудь знать! В степи у аратов слышал. Говорят, в Хуре в Гандане уже перестали бить.

В котле забулькал чай. Цывен достал чашки и разлил дымящееся варево. Санжа отказался. Баир, усмехнувшись, похлопал его по плечу:

— Тебе, брат хорошо! Тебя Гомбоджап-лама кормит, — и добавил, приняв серьезный вид, — недостаточно припадать к ногам учителя, надо бороться за него! А у меня уж и сил не стало бороться!

Баир скорчил гримасу и показал на живот, подмигнув товарищам. Баньди, смеясь, смотрели на Санжу. Тихого ученика Гомбоджап-ламы всегда коробила вольная болтовня пастухов, а смущенное недовольство Санжи забавляло приятелей.

Санжа, и хмурясь, и улыбаясь, покачал головой:

— Эх, брат Баир! Учитель никогда не стал бы наставлять тебя, если б знал, как ты треплешь его слова!

Баир отмахнулся:

— Ну, он недолго и наставлял! Быстро в пастухи определил! — он налил себе вторую чашку и вылавливал пальцами куски баранины.

— Не в лекари же тебя, если ты неспособен к наукам, — сказал Цывен, подбросив аргалу в огненную глотку печки.

Улыбка сошла с лица Баира:

— А ну-ка поучись на голодный желудок! Много ли войдет тебе в голову? Хорошо, вот он, — Баир кивнул на Санжу, — с малых лет пришелся Гомбоджап-ламе по вкусу, тот его и кормил, а у меня вечно в животе бурчало. Немного, брат, в голову полезет, если в живот мало попадает!

Он покачал головой и допил чай. Потом сказал уже весело:

— Да ведь что было бы в хите, если бы нас, неспособных, не было? — Баир оставил чашку и стал загибать пальцы: — скот пасти надо, дворы чистить надо, в извоз ходить надо... Ух!

— Но неужели ты и не думаешь обеты гецуля сдавать? — озадаченно спросил Санжа.

Баир засмеялся и откинулся на кошмы:

— Да хоть бы и думал, так не сдам! — Он лег на живот и, положив голову на руки, глядел на Санжу. — Ну, а что хорошего в твоей жизни? Встаешь ты не позже нас, зажигаешь лампады перед бурханами, твердишь молитвы да

учишь, сколько зерен в глазу у Амугуланту-бурхана!

Опять разлился хохот. Галчонок зашевелился; попятившись, высунул из гнезда голый зад и опять улегся. Цывен потянулся:

— Нет, и мне не нравится! То ли дело в степи: целый день — солнце, и сам ты свободен, как сурок. Посматривай себе за стадом и только!

— Но с едой вот плохо и может еще хуже быть, — сказал молчавший до сих пор Чултум.

Баньди повернулись к нему:

— Почему?

— Потому что в Джаргаланту-хите появился хубилган, и теперь верующие только туда и жертвуют!

— А ты-то откуда знаешь? — усомнился Баир.

— Слышал! Сегодня Балдан-лама вернулся из степи сердитый.

— Ну, тогда — беда! — вздохнул Баир.

Баньди покачали головами:

— Будут недохватки — нам первым придется животы подтянуть!

Огонь в печке затихал. Уголья переливались жаром. Цывен зевнул и стал развязывать пояс. Кивнул Баиру на кости в котле:

— Надо прибрать! Мало ли кто зайдет.

Баир собрал кости и сунул их под кошму. Санжа нехотя поднялся.

— Ну, прощайте!

— Смотри, не проговорись про барана! — смеясь бросил ему вслед Чултум.

Санжа запахнул орохомчи и вышел на улицу. Луна стремительно неслась по черному небу, ныряя в белые волны туч. Поселок спал. В пустых переулочках свистел ветер. Кое-где у оград

темнели псы. Выбиваясь из туч, луна освещала белые часовни в скале и плещущиеся по ветру знамена. Санжа с трудом поднимался по крутой тропинке. Проходя мимо ограды главного храма, он увидел черный силуэт коня, привязанного около калитки. Это была лошадь того, кто изредка приезжал в монастырь и останавливался только у высших лам; того, у которого на левой руке не было одного пальца и которого баньди прозвали поэтому «беспалым». Порыв ветра донес до Санжи голоса из двора храма. Баньди заторопился, чтобы притти домой раньше учителя и избежать неприятных вопросов.

Добежав до кельи, Санжа разделся и лег.

Лампада скупо освещала медное лицо бурхана. В скалах выл и хохотал ветер.

Слух о хубилгане в Джаргаланту-хите облетел окрестные аилы. Ламы Умзашри-монастыря часто возвращались недовольными из поездок по юртам. Новый святой привлекал богомольцев в свой хит. Весна была холодная, малотравная, а пожертвования в монастырь стали редки, как жирные овцы в его стаде.

Лама Самбу постарел и осунулся. Он все чаще возвращался из юрт с пустыми руками. Гыскуй хмурил брови, слушая его жалобы:

— Совсем мало стали жертвовать нашим ламам! Плохая весна, скот падает! Если так пойдет, может совсем обеднеть монастырь.

— Ну, хоть обеднеть-то не обеднеем, — задумчиво сказал гыскуй, — конечно, если богослужения будем проводить как следует, — добавил он быстро, — но все-таки нехорошо! А что же говорят араты?

— Я слышал, — сказал Балдан-лама, тоже

вернувшийся из степи, — что будто бы ламы Джаргаланту-хита зовут аратов молиться в свой монастырь, а про нас говорят, что «дескать, они плохо молятся, если у них у самих скот падает».

— Да ведь от недокорма падает! — возмутился гыскуй, — им хорошо, когда кругом степь, а у нас — камень. На выпас гнать — два дня!

— Да вот, пойди, доказывай каждому, — Балдан-лама уныло развел руками, — а слух такой ходит!

Гыскуй поднялся:

— Ну, ладно! Я скажу настоятелю, а вы все-таки ходите по юртам. И помните: ребенку — одни слова, девушке — другие, старику — третьи. К каждому свой подход нужен!

Скверная весть встревожила монастырь. В такое время, когда и так уменьшались пожертвования и много молитв и уменья приходилось тратить на обработку каждого верующего — вдруг такая беда.

Гомбоджап-лама, услав Санжу, сердито ходил из угла в угол. Гыскуй и Жамьян-лама, сидя, следили за ним. Гомбоджап хлопнул себя по лбу:

— Неужели они не понимают, что не время сейчас бросать тень на какой-нибудь, даже малый хит, не то что наш — древнейший?.. Неужели они не понимают, что сейчас все монастыри должны жить одной жизнью? Ведь ронять наш авторитет в аратстве, это значит играть на руку этой красной голи! О чем они думают?

Гомбоджап-лама опустился на кошмы и обхватил руками голову. Гыскуй закашлялся. Гомбоджап поднял на него глаза:

— Ну, что ты скажешь?

— Я думаю, брат, — озабоченно сказал гыскуй, — что ты говоришь правильно, но... — он повысил голос, — не забудь, Гомбоджап-лама, что с деньгами у нас плохо!

Гыскуй покачал головой:

— Да, плохо!

Гомбоджап раздраженно поднялся:

— Ну так что ж ты предлагаешь?

— Я думаю, что нужно усилить сбор пожертвований...

Жамьян-лама насмешливо хохотнул:

— Ох, брат, неужели?

— ...усилить сбор пожертвований, — спокойно продолжал гыскуй, — а для этого надо пустить в юрты слух, что хубилган в Джаргалан-ту-хите — ложный хубилган!

Гомбоджап тяжело опустился на сиденье и отер лоб рукой:

— В одной фразе ты опрокинул сам себя, брат, — он пожал плечами и махнул рукой, — так делать нельзя! Опять, значит, сеять рознь между своими же?

— Гомбоджап-лама, — сказал гыскуй, — монастырь беднеет. Как хочешь, но надо повернуть богомольцев к нашему хиту, иначе — беда! Денег нет. Не прикажешь ли опять баньди посылать на извоз?

— Нет! — Жамьян резко тряхнул головой, — чем меньше они отлучаются от хита, тем лучше. Жамбо-хит послал пятерых, а вернулось трое. Расстриглись самовольно. Нельзя!

— А в монастыре нечем их кормить, — гыскуй развел руками, — думайте как хотите!

В келье жужжали первые мухи. По белому обшлагу халата Гомбоджапа настойчиво карабкался маленький жучок. Лама рассеянно смот-

рел на него. Лоб ламы прорезали глубокие складки раздумья.

Гомбоджап вздохнул, стряхнул жучка длинным желтым ногтем и сказал:

— Ну, хорошо! Пусть будет по-вашему. Скажите Самбу, Балдану и другим.

Гыскуй облегченно откинулся к стене и стал перебирать четки. Гомбоджап-лама плотнее прикрыл дверь и подсел ближе к ламам. Сказал тихо:

— А как принимают араты слухи о Банчен-Богдо?

Жамьян-лама покачал головой:

— Слухи текут, брат, но...

— Что, «но»? — нетерпеливо переспросил Гомбоджап.

— Но сейчас трудно стало говорить против власти, — пояснил Жамьян. — Видишь ли, брат, из худонов [1] наши пишут — работать стало труднее!

— Так значит, работать надо лучше! — раздражительно перебил его Гомбоджап.

— Подожди, — Жамьян терпеливо успокаивал Гомбоджапа своей лисьей мягкостью, — трудно звать арата на новую борьбу сейчас, когда у него брюхо сыто. Еще два года назад бывало, что нехватало продуктов по юртам, а теперь всюду подвозят в избытке.

— Да, сейчас не расскажешь, что в степях — голод, — подтвердил гыскуй.

— Нужно продолжать скупать в худонских кооперативах муку, пшено, как только товары появятся и в каком бы количестве они ни появились, — Гомбоджап говорил горячо и быст-

[1] Худон — провинция.

ро. Его умные глаза смотрели открыто и откровенно.

— ...пусть худонские монастыри посылают на скупку всех низших лам! Скупят — сделают два дела: араты останутся без продуктов — легче пойдет работа, а потом можно будет продать товары по дорогой цене и еще заработать.

Жамьян-лама слушал терпеливо, чуть улыбаясь углами рта. Когда Гомбоджап кончил, Жамьян отложил четки и, потирая костлявые руки, посмотрел на него.

— Всего не скупишь, брат, — он криво усмехнулся, — ты забыл: теперь всех монастырских денег нехватит, чтобы скупить все то, что привозят в худоны!

Гыскуй молча кивнул.

— ...Это средство перестало быть средством! Кооперативы не опустошишь, хотя бы ты распродал всех богов из храма. А теперь послушайте, братья, что я думаю! — Жамьян-лама оправил орохомчи на своих костистых плечах: — Я думаю, что теперь нельзя посылать в худон одних Балданов и Самбу, этого недостаточно, — Жамьян повысил голос: — В худон должны поехать высшие ламы, и первым поеду я!

Гомбоджап подумал минуту, опустил тяжелую руку на плечо Жамьян-ламы:

— Ты прав, брат, действительно надо самим ехать в худоны.

— Пойдем к настоятелю! — сказал гыскуй, беря свою палку.

Ламы кивнули. Втроем вышли на улицу, впустив в келью свежий воздух солнечного весеннего дня.

КУМИРНЯ

1

Наступил жаркий, безветренный июнь. Только ночи охлаждали пыльную духоту дней. Легкий ветер чуть звенел колокольчиками на углах храмов, шелестел длинными шелковыми лоскутами, — на одних были нарисованы бурханы, начертаны священные слова, иные же были маленькими знаменами и тогда уже одним цветом своим обозначали бога.

Монастырь продолжал жить своей внешне спокойной и налаженной жизнью.

Баир вместе с другими пас монастырские стада, Санжа рисовал маленькие образки на продажу аратам. Старый лама Самбу переписывал священную книгу. В монастыре было более двухсот экземпляров этой книги, и в них не было никакой нужды, но за переписку обещалось вознаграждение в блаженном царстве Сукавади. По буддийским законам все равно — сделать ли добро самому или через другого, и в прежние времена многие зажиточные миряне платили ламам большие деньги за переписку святых книг, но теперь получить такой заказ удавалось редко, и Самбу-лама был доволен.

Санжа посмотрел, как лама выводил мудреные тибетские иероглифы на длинном узком листке, взял краски и пошел к художнику.

Сухой меловой грунт с обеих сторон покрыли рыбьим клеем. Когда и он высох, Санжа отполировал холст волчьим зубом. Полотно было готово, но он сел и задумался. Старый художник удивленно посмотрел на него:

— Почему ты не начинаешь?

Санжа взял старика за руку:

— Учитель! Помнишь, ты говорил мне как-то, что в маленькой кумирне есть красивейшие изображения богов? Покажи мне этих бурханов!

— Брось думать, о чем не надо, шаби!

Санжа молча начал рисовать. На его лбу легла упрямая морщина, — впервые в жизни он твердо решил нарушить закон старших и посмотреть самому запретных бурханов. В тот же вечер он рассказал Баиру о своем желании, но приятель только презрительно пожал широкими плечами:

— Старик сказал правду — брось думать о том, о чем не надо думать! Если заперта дверь, можно открыть окно. Полезай и смотри.

Вечером, прогуливаясь, они забрались наверх к самой скале. Там, на отлете, подпертая с боков — от обвала — плоскими камнями, стояла маленькая кумирня, а прямо над ней белело огромное лицо высеченного в скале бога.

Баир торопливо ощупал деревянные засовы на ставнях низких окон кумирни. Отряхнув длинные рукава халата, он, удовлетворенный, подошел к Санже:

— Гвозди можно выдернуть, а засовы — деревянные, рассохлись. Отопрем!.. Итти можно только ночью, а то увидят! — добавил он, вытаскивая занозу из пальца.

Решили ждать, когда Гомбоджап-лама уйдет на ночной хурал к настоятелю.

Однажды вечером Баир большими шагами взбежал наверх, к келье Гомбоджапа. Увидя, что ламы нет дома, он потащил Санжу с собой на скалу.

— Приехал беспалый! — объявил он. — Если Гомбоджап-лама уйдет, сегодня можно итти, — он кивнул головой на маленькую кумирню, блестевшую на закате старинной позолотой витых крыш. — Попозднее я приду наверх, — сказал Баир, — дождемся, когда Гомбоджап уйдет, тогда и пойдем!

Санжа кивнул:

— Так и сделаем! Я сейчас пойду, чтобы он не хватился.

— А беспалый сегодня в арбе приехал, я видел, — сказал Баир, вставая вслед за товарищем.

Баньди спускались со скалы, не глядя под ноги. Здесь им были знакомы каждый камень, каждая трещина. Еще детьми они знали эти тропинки наизусть лучше тибетских молитв.

— Эх, если бы мне в Ургу попасть, — вздохнул Баир, — пока деньги есть! Девушку найду, — он зажмурился и потянулся, — хорошенькую девушку!

Лицо Санжи покрылось румянцем. Они молча дошли до кельи.

— Значит, вечером?

Гомбоджап-ламы еще не было; Санжа прибрал келью, оправил постель, зажег лампады перед бурханами и с нетерпением стал ждать.

Учитель пришел скоро, озабоченный и торопливый. Распустив пояс, лег на постель, но не заснул. Через открытое окно келья наполнялась мраком и свежестью ночи. Гомбоджап все лежал, и баньди уже потерял надежду, что в этот вечер удастся пробраться в кумирню. Но лама неожиданно поднялся, оправил халат и пошел к двери. Санжа подбежал к окну.

Гомбоджап-лама быстро спустился по тропин-

ке и увидел не успевшего спрятаться Баира. Сдвинув брови, подошел к нему:

— Что здесь делаешь? Ночь уже. Ступай к себе!.. Санжа! — крикнул Гомбоджап, — никуда не уходи! Я скоро вернусь, слышишь?

Лама быстро пошел к главному храму.

Расстроенный Санжа разделся и лег. Он проснулся от голоса учителя.

— Дай мне воды, — твердил Гомбоджап в ухо сонному Санже. — Да проснись ты, наконец! — смеясь, прикрикнул он на Санжу, когда тот спросонья не мог попасть водой ему на руки.

Утром Гомбоджап поднялся до рассвета. Тропинки еще были темны от росы, когда он вошел в келью гыскуя.

Они говорили долго.

— Ничего не поделаешь! Больше послать некого, а он — пройдоха-парень. Все сделает, как надо! — заключил гыскуй.

— Не следовало бы этого мальчишку выпускать из монастыря! — Гомбоджап покачал головой.

Он молча протер руками невыспавшиеся глаза. Ламы вошли в ограду настоятеля.

Днем на хурале Баир сиял, как начищенный бурхан, и изо всех сил пел молитвы. Санжа с удивлением наблюдал за невиданным усердием товарища. Когда кончилось богослужение, Баир, выходя вместе с Санжей, шепнул ему на ухо:

— Сегодня ночью еду в Ургу.

2

Весь день был необычным. Утром Гомбоджап ушел из кельи, не задав Санже урока.

Вернувшись с молитвы, Санжа лег на по-

стель и стал мечтать о городе, который Баир увидит уже в четвертый раз, а он знает только по рассказам, — о гигантском храме Майдари, о роскошных дворцах Богдо. От святынь мысли невольно потекли к неведомому суетному миру, опасному и заманчивому. И девушка, которую хотел найти себе Баир, представлялась Санже то прекрасной и тонкой, как богиня Дара-Ехе, то неуклюжей и толстой, как Гомбоджап.

Учитель пришел только к обеду, усталый и невыспавшийся, велел Санже приготовить ему постель и итти гулять.

В дверях Санжа столкнулся со старым Жамьяном. Лама вошел в келью и стал трясти Гомбоджапа:

— Вставай! Настоятель зовет, — не всё написали!

Гомбоджап вздохнул. Санжа спрятал улыбку в рукав. Учитель мог переносить лишения в пище, но не в отдыхе. Санжа рассказал об этом Баиру. Приятель задумался. Потом хлопнул Санжу по плечу:

— Слушай, если он дорвется до кошмы только к ночи, то заснет, как мертвый в Алтан-Улугай! Ты успеешь обойти все кумирни монастыря, пока он тебя хватится!

К вечеру Баира позвали к Жамьян-ламе. Санжа долго ждал его в келье пастухов. Придя, Баир достал нитку, иглу и, усевшись на кошме, принялся зашивать в полу халата маленький твердый конверт.

— В Ургу повезешь? — спросил Санжа.

Баир кивнул:

— В Гандан.

Внизу у рощицы уже паслась оседланная ло-

шадь. Солнце зашло за горы. Нагревшаяся за день земля отдыхала. Монастырь уже стихал, только где-то за рекой мычали коровы да еле слышно журчал ручей.

Баир подтянул подпругу и поправил свой пояс.

— Ну, прощай! Теперь жди с новостями! — он подмигнул приятелю. — А в кумирню все-таки сходи, не провалится монастырь от этого!

Оба засмеялись. Баир ударил коня ташуром и поскакал по каменистой дороге.

Вечером, приготовив постель Гомбоджапу и затеплив лампаду, Санжа стал сворачивать свою кошму.

— Куда? — удивился Гомбоджап.

— Голова болит. Хочу спать сегодня на улице у дверей.

Лежа на животе, подперев руками подбородок, Санжа напряженно вслушивался в тишину. Ему все казалось, что кто-то идет. Но монастырь спал, и из кельи доносился мерный храп Гомбоджапа. Санжа взглянул наверх, — залитая луной кумирня ярко выделялась на черной, как тушь, скале.

Санжа тихо поднялся, снял гутулы, прикрыл дверь кельи. Он нащупал за поясом припрятанный нож, обломанную свечку, коробку спичек и босиком, неслышно, побежал по тропинке вверх.

Казалось, кумирня спит. Санжа подошел к окну, вынул из-за пояса нож и стал подсовывать его под ржавые гвозди. Ставня медленно освобождалась.

Санжа бросил нож на землю и осторожно потянул правую створку. Окно было низко. Он

лег животом на подоконник, до половины просунувшись в кумирню. На него пахнуло затхлостью. Санжа оглянулся. Одним движением перебросил тело внутрь. Зажег огонь.

Стены еще скрывались в темноте, — свет вырвал из мрака только несколько золотых бликов. Из угла на баньди глядел чей-то большой белый глаз. Темный силуэт, то выделяясь, то опять пропадая в темноте, поблескивал камнями на короне. Свеча не разгоралась, и пламя поминутно вздрагивало от свежего дыхания ночи. Санжа раздраженно запахнул ставни. Свеча потухла. Он зажег ее опять и поднял высоко над головой.

Кумирня ожила. Из мрака выступили золотистые, медные, блестящие и матовые бурханы. Их было много, они рядами стояли по стенам. Великолепные складки позолоченных мантий неподвижно падали с их полированных тел, стройные руки застыли в благочестивых движениях. Тут были маленькие и большие, мужские и женские божества; казалось, что все население блаженного царства Сукавади спустилось сюда, чтоб показать маленькому монастырскому послушнику свою несравненную красоту и богатство.

Огромным пауком сплетались в любовной судороге два многоруких, многоголовых тела. Такими изображали буддийские художники Ямантага — бога зла. Молитвенно сложив ноги на обрядных подушках, протянув строгую руку, благословлял Санжу первый из первых, великий учитель Будда Багван, а за ним из темноты показалась она, прекраснейшая из прекраснейших, статуя богини Дара-Ехе. Кажется, из тысячи Санжа узнал бы этот гор-

дый профиль, прекрасные брови и руки, эту талию, легкую, как ковыльный стебель. Из ее ушей двумя цветками висели зеленые серьги, на высокую грудь спускались ожерелья. Она восседала на троне.

Глаза Санжи скользнули с пьедестала на пыльный пол и остановились в удивлении, — у ног богини лежал большой свежий лист с куста, каких много росло возле кумирни. Санжа поднял лист, но свеча, догорев, обожгла пальцы. Он бросил и лист, и огарок, открыл окно и выпрыгнул наружу.

Над долиной тихо лежала ночь. Луна, недавно еще красная, стала золотой. Санжа еще раз заглянул в кумирню, но там было темно. Вздохнув, он стал закрывать окно. Вернувшись к келье, он долго не мог заснуть. Ему казалось, что неслышными шагами подходит Дара-Эхе. Ее золотистая кожа мягка и нежна, как цветок шиповника, она гладит его воспаленный лоб, и рука ее — как прохладный ручей в жаркий летний полдень...

ЛОЖЬ

1

Баир приехал в Улан-Батор [1] днем. Привыкнув к монастырю, к его кельям, храмам и скалам, баньди всякий раз удивлялся. Город рос и изменялся. Там, где в прошлом году на пустыре бродячие псы справляли свои свадьбы, теперь земля щетинилась огромными иглами

[1] Столица Монголии Урга после революции получила новое название — Улан-Батор-Хото — город Красного Богатыря.

столбов, возводили какие-то леса, что-то строили. Здание телеграфа сверкало на солнце свежевыбеленными стенами. По улицам огромными жуками сновали машины. Рев нетерпеливых гудков смешивался с хриплыми криками верблюдов и мягким топотом коней.

Прямо на Баира шел автобус. Степная лошадь баньди забилась, наскочила на коновязь и столкнула сидевшего на ней мальчугана. Автобус остановился и беспрерывно гудел, требуя освободить дорогу. Лошадь брыкалась, закусив удила, мальчик ревел и ругал Баира. Собиралась толпа. Баир натянул изо всей силы узду и повернул лошадь обратно. Пришлось ехать в Гандан не через город, а в обход, по окраинам, чтоб не встречаться с автомобилями и не обращать на себя ничьего внимания.

На невысоком холме, отделенном от города грязной канавой, пчелиными сотами лепился ламский поселок. Баир быстро отыскал знакомые ворота, над которыми дрожало рваное желтое знамя с черными буквами, — он третий раз привозил сюда письма из Умзашри-хита, — и вошел в калитку.

В грязном вонючем дворе стояла юрта, прочно врытая в землю. Валялись дрова, старый гутул, какие-то рваные тряпки. На заборе сидел серый кот и внимательно смотрел на Баира большими желтыми глазами. Баир толкнул ногой дверь и вошел в юрту.

Солнце уже перевалило на другую половину неба, а хозяин все не шел.

Баир лег спать на кошмах. Его разбудил хозяин — низенький грязный Митуп-лама, с лицом, похожим на вялую луковицу. Опухший от сна, с налившимися кровью глазами, Баир мол-

ча стал выпарывать конверт из полы халата. Митуп-лама засуетился, выбежал во двор, запер калитку и, внимательно осмотрев помятый конверт без адреса, спрятал его за пазуху. Потом открыл сундучок, достал вареную баранину и плитку чая.

— Пей, ешь! Ночуй у меня. Завтра тебе скажут, когда ехать обратно. Лошадь я уведу к нашим.

— Митуп-лама! — протянул жалобно Баир. — Дай хоть тугрик. Хочется погулять, устал, письмо вез, торопился.

— О письме забудь! — погрозил лама Баиру и, обнажив в улыбке беззубые десны, достал из кармана три тугрика, — а за усердие — на́! Хоть и не полагается. Только водки не пей, баньди, ты лучше, знаешь, там погуляй!

Митуп-лама прищурился и показал рукой на север. Баир засмеялся: на северном краю поселка стояли юрты проституток, которым буддийские законы запрещали проживать на ламской территории. Идя на компромисс с богами и уступая телу, ламы ходили к ним.

Митуп-лама застегнул халат и, ведя в поводу лошадь Баира, пошел мелкими шажками по извилистым закоулкам монастырского улья к его сердцу — огромной пагоде Майдари-храма.

Баир быстро разжег очаг. Пока закипала вода, он пересчитал свои капиталы. Без трех тугриков Митупа их было тридцать три, скопленных за несколько месяцев, заработанных случайно у проезжих людей. Это было все, чем мог похвастаться Баир после года работы на монастырское хозяйство. Баир сердито посмотрел на старую бумажку Митупа:

«Рванее не нашел! Еще не примут, пожалуй», — и, разгладив ее, уложил вместе с остальными в гутул.

Обжигаясь горячим чаем, баньди наелся баранины, истребив чуть не половину запасов ламы. Обдернул халат, перевязал пояс и быстрыми шагами пошел по темнеющей улице на восток, где в юрте на самой окраине монастыря жил его приятель — баньди из Гандана.

2

— Вот и посуди сам — какая мне радость неотлучно пасти скот и жить впроголодь. А теперь я получаю восемьдесят тугриков, юрту... Никто мне не мешает жить.

Максор затянулся трубкой и, пустив в урхо синий дымок, продолжал:

— И что ты думаешь? Мне и почету стало больше. На заводе ударником называют, грамоту дали.

Ошеломленный Баир не пропускал ни одного слова. Случилось совершенно неожиданное: приятель ушел из лам, поступил чернорабочим на пимокатный завод, надел аратское платье и женился. Баир искоса поглядывал на тоненькую девушку, сидевшую рядом с Максором.

— А как же в монастыре? — спросил он, наконец.

— А что в монастыре?.. Приходили, конечно, ругались, звали. Все равно — с меня хватит! — Максор сердито махнул рукой. — Вот мне двадцать три года, а что я видел? Пой молитвы, работай, как верблюд, и все?.. В монастырях только старшие и живут, а маленькому человеку нет хуже!

— Н-да! — Баир почесал затылок, отодвинув пустую чашку, — здорово!

Максор засмеялся и похлопал Баира по плечу:

— Брось, брат! Теперь не такое время. Поклонись-ка своему Умзашри-ламе да приезжай к нам. Жить будешь весело, человеком станешь!

Была уже ночь, когда Баир поднялся, ошеломленный всем, что наговорил ему Максор.

— Чего торопишься? — спросил приятель, — оставайся ночевать!

Но Баир сконфуженно отказался, и Максор, знавший привычки товарища, не стал его задерживать:

— Завтра приходи обязательно! И в русский и в монгольский клуб вместе сходим!

Они попрощались, и баньди медленно зашагал на северную окраину, обдумывая все виденное и слышанное.

К Митуп-ламе он явился на рассвете. Лама пил чай. Он с усмешкой оглядел помятого баньди и достал ему чашку. Баир тяжело опустился на кошмы.

— Пробудешь ты здесь еще два дня, — сказал Митуп. — Есть будешь у меня...

Лама вынул трубочку и затянулся, откинувшись к стене. В открытую дверь вливался теплый воздух тихого солнечного утра.

— А ты не был вчера у Максора, приятеля своего? — тихо спросил лама.

— Нет! — покачал головой Баир не задумываясь.

— Ну, так и не ходи! Там нечего делать истому ламе. Максора купили красные. Он — отступник от учителя и веры. Его покарают боги!

Вечером в клубе Баир встретил русского, ко-

торый весной дал ему пятнадцать тугриков за услугу. Русский повел Баира и Максора в большой кинозал и усадил в ложу. Потушили свет. Зал неожиданно прорезала яркая струя света, раздвинулась целая стена, он увидел реку, лошадей, людей. Потом появился отряд конницы и, размахивая шашками, бросился прямо в зал. Баир закричал и вскочил. На него зашикали. С досадой дернув приятеля за рукав, Максор усадил его обратно:

— Это же не живые! Чудак ты!

После сеанса, обходя все клубные помещения, Баир дернул Максора за рукав, показал ему на невысокого человека в военной форме, у которого на левой стороне груди сверкало в ярком электрическом свете несколько орденов.

— Кто это?

Максор с гордостью улыбнулся:

— Неужели портретов не видел? Хотя где же тебе! Это наш военный министр!

Баир широко открыл глаза, увидев так близко от себя красного начальника.

В буфете они выпили пива. Пенная горечь ударила Баиру в голову. Выйдя из клуба на огромную площадь имени Сухэ-Батора, они обогнали группу лам. На возбужденный голос Баира один из лам оглянулся и долго смотрел вслед баньди.

Баир вернулся к Митупу поздно ночью. Лама открыл ему и, глубоко вдохнув воздух, спросил:

— Где был так поздно?

— Там, где и вчера, — сказал Баир, опустив голову.

— Так, так! Ну, что ж, ложись, шаби, отдыхай!

Утром старик успел вернуться из храма, пока Баир еще спал. Он привел коня, и баньди проснулся от знакомого ржанья. Войдя в юрту, Митуп-лама с ласковой улыбкой протянул Баиру конверт:

— Вот ответ, шаби! Велено тебе сейчас же ехать домой. Лошадь твоя накормлена.

Баир удивленно нахмурил лоб:

— Почему так скоро? Ведь ты сказал, Митуп-лама, что я дня два побуду в Урге.

— Не знаю, шаби, не знаю, — улыбнулся лама. — Есть люди выше меня... А разве тебе не радостно вернуться в ваш святой хит?

— Ой, Митуп-лама! Не поверишь, как стосковался! Вчера весь вечер был сам не свой! — вздохнул Баир.

— Ну, вот и поезжай, и поезжай, шаби! Да смотри, письмо береги, а я тебе баранинки на дорогу дам.

Старик сам привязал к седлу сверток с мясом. Баир вывел лошадь за ворота и вскочил в седло. Митуп-лама, почесывая впалую грудь, просил кланяться всем знакомым.

Отъехав несколько саженей, Баир оглянулся, — Митуп-лама все глядел ему вслед, и у ног старика терся серый кот. Баир плюнул и поскакал, похлопывая коня ташуром.

3

Санжа лениво жевал сладкую мякоть шиповника. Набрав полную горсть ягод, он шел по тропинке, сталкивая ногой мелкие камешки, и лицом к лицу столкнулся с запыхавшимся Бадмой. С трудом переводя дух, баньди зашептал:

— Баир сегодня приехал! Сразу пошел к гыскую... а теперь вернулся и сидит злой...

Санжа бросил шиповник и побежал вниз. В келье Баира было темно. В открывшуюся дверь ворвался мягкий свет последних солнечных лучей. Баир ничком лежал на кошме.

— Что случилось? — тихо спросил Санжа.

Баир оглянулся на его голос, встал, осторожно спустил штаны и молча показал приятелю покрасневший зад.

— Выпороли! За что?

— За что?.. Я согласился бы, чтобы они еще раз меня выпороли, только бы узнать, откуда они узнали.

Пока Гомбоджап внимательно читал письмо из Гандана, гыскуй нетерпеливо ходил по келье из угла в угол. Потом подал ламе другое письмо, на обыкновенном почтовом листке, написанное скверным, неровным почерком Митуп-ламы:

— А теперь прочти вот это.

Нахмурив густые брови, Гомбоджап прочел описание похождений Баира в Урге. Гыскуй указал пальцем на приписку Митупа:

«Плохо дело, если не нашлось у вас в хите баньди понадежнее!»

Гомбоджап пожал плечами.

— Дурак! А что у них самих-то делается!

— Дурак-то дурак, а теперь по всему Гандану ославит, старый сплетник!

— Ну, что ты, брат, мелочью такой занимаешься? Ославит, не ославит, чепуха какая! — отмахнулся Гомбоджап, изорвав в мелкие клочья послание Митуп-ламы. — Гораздо хуже, что этот мальчишка теперь здесь вредных слухов напустит!

— Я уже выпорол его! — перебил гыскуй.

— Одним этим теперь не возьмешь! Может быть, даже и не следовало бы пороть. Отделить его надо от других, вот что!

— Так первого же надо отделить твоего сопляка, — заметил гыскуй, раскуривая трубку, — он с ним постоянно бывает.

Гомбоджап задумался, устало опустив голову на руки.

— Да, знаешь ли, Гомбоджап-лама, — медленно сказал гыскуй, в упор глядя на ламу, — ты бы последил и за Санжей. Ты не смотри, что он тихий. Вспомни-ка, дядя его, Доржи, тоже ведь когда-то тихий был... А потом так же тихо и из хита ушел. А теперь красным начальником сделался! Давай письмо, снесу Жамьян-ламе!

— Я сам снесу! — ответил Гомбоджап. На его лицо легла тяжелая печать раздумья.

Гыскуй ушел. Гомбоджап потянулся, отер руками лоб и покачал головой на свои невеселые мысли. Опять стал ходить по келье, перебирая четки. Санжи все не было.

Он сам затеплил лампады. Потом вышел на улицу и начал спускаться вниз, к хошану Баира.

Из калитки вышли двое, — лама узнал обоих, — и направились вниз, к рощице. Баир шел ссутулившись. Тонкий, гибкий Санжа был похож на девушку. Баньди быстро спустились к черной тени деревьев, и осторожно, сдерживая свою тяжелую поступь, за ними шел Гомбоджап.

В роще Баир улегся животом на влажный мох. Санжа сел на камень. От холодного шопота ручья и сырого тумана ночи его тряс озноб.

Баир говорил вполголоса, отрывисто и сердито:

— Что ты думаешь? Максор теперь живет — лучше не надо: деньги есть, жизнь видит! Когда я ему рассказал, как нас кормят, он смеялся, как маленький. Нищие, говорит, вы ребята.

Перед глазами Санжи вставала необыкновенная жизнь — без каждодневных лампад, хуралов, жизнь с женой... Быстрое воображение Санжи наделяло смешливую курносую жену Максора царственной прелестью богини.

— Не знаешь, кому верить, — вздохнул Баир, — только живется-то там много лучше. Думаю, много наши врут! Пойдем! А то хватятся; но смотри, Санжа! Молчи, не рассказывай, о чем я тебе говорил, а то ведь мне твой Гомбоджап-лама свой зад не приклеит...

Они медленно пошли вдоль ручья, нащупывая ногами скользкие камни.

Санжа уже давно был в келье, а Гомбоджап все сидел на камне и думал. Самому от себя нельзя было уйти. Вот здесь, в этом черном лесу, был брошен вызов ему — ученому ламе. Ему, учителю, который дал монастырю столько послушных вере и наставнику монахов, столько дисциплинированных, стойких и безропотных исполнителей воли правящей верхушки святого хита. Умелое обращение, настойчивость, ласка Гомбоджапа делали ребенка-послушника мягким, как воск, и заставляли его на всю жизнь застывать в той форме, какая нужна была Гомбоджапу, всему монастырю, сотням монастырей, раскинувшихся по огромному телу страны.

Санжа был последним. Девять долгих бурных лет... И неужели одно дуновение свободно-

го ветра, долетевшее в защищенную скалами долину, окажется сильнее его многолетнего труда?..

Гомбоджап застал Санжу за молитвой.

Лама сам зажег большую свечу, поставил ее на низенький китайский столик и показал на кошму перед столиком:

— Сядь, шаби, сюда! Ты знаешь, как карает бог тех, кто ссорится с учителем? — сказал он, мягко и внимательно посмотрев в напряженное лицо ученика.

— Да, учитель.

Лама снял нагар со свечи и, помолчав, скороговоркой спросил:

— Что тебе говорил Баир?

Санжа опустил глаза. На щеках ярче вспыхнули пятна.

— Ну? — нетерпеливо повторил лама.

Санжа поднял голову:

— Он говорил, что был у женщин...

— А еще... Что еще говорил он тебе?

В лице Гомбоджапа, в голосе его звучала почти просьба. Первый раз за девять лет он просил, всем нутром просил юношу подчиниться его приказаниям. Этот миг покорности вернул бы ему силы.

Санжа посмотрел на учителя. Его голос прозвучал заученно и деревянно:

— Нет, учитель. Больше ничего...

Лама молча опустился на подушки. Его большое тело обвисло, как будто из него вынули скелет. Санжа стиснул руки, оглянулся на медного бурхана. Ему стало страшно. Он шагнул вперед, чтоб упасть на колени, просить наказания за ложь, но на скрип половицы лама поднял голову. Его лицо поразило Санжу: на

него смотрел чужой человек. Глаза не были ни злыми, ни добрыми — они были чужими. Гомбоджап-лама встал, потушил свечу, как будто Санжи не было в келье, и вышел на улицу, плотно притворив за собой дверь.

Санжа растерянно хрустнул пальцами, ощупью добрался до постели и, упав лицом вниз, заплакал беспомощно и громко, как ребенок...

На следующее утро Гомбоджап, по совету Жамьян-ламы, выселил Санжу в общую келью пастухов.

НАКАЗАНИЕ

1

Трудное понятие «вера» полностью воплощалось у Санжи в четкой, уверенной фигуре Гомбоджапа. Никогда не надо было раздумывать, как поступить в том или ином случае, благочестиво это или грешно, — все предопределялось само собой мягкими приказаниями учителя. Тексты тибетских книг нескончаемо укладывались в памяти, обещая в будущем сан и почетное святое существование.

И с той ночи, когда Гомбоджап впервые взглянул на Санжу чужими наблюдающими глазами, дни потекли бестолково и беспокойно. При встречах на улице Гомбоджап обращался с ним, как с одним из многих, точно и не было этих девяти лет.

Грубоватое сочувствие товарищей раздражало Санжу. Баир, которого он считал причиной своего несчастья, выводил его из себя новым, после возвращения из Урги откровенно скептическим отношением к монастырским распорядкам. Приятель отмахивался от бесконечных жа-

лоб Санжи, добродушно подсовывая ему лучшие куски из котла. Но кусков было мало. Санжа, привыкший к лучшему питанию, худел, кашлял и мерз на холодном ветру. Добротные кельи Гомбоджапа и других высших лам защищались от сырости высотой, туман туда не доходил; а келья баньди, стоявшая в низине, с сумерками одевалась в мглистый саван. Санжа часами просиживал у огня и с закрытыми глазами мечтал, как было бы хорошо очутиться дома, у Гомбоджап-ламы.

Он стал невнимателен в работе, однажды нарисовал совершенно кривобокого Будду, и старик-художник, возмущенный рассеянностью ученика, пожаловался на него Гомбоджапу. Санжа, побледнев, выслушал резкий выговор ламы, принял наказание — положить сто поклонов и очистить от мусора двор главного храма.

— Учитель! Разреши принести показать тебе мою следующую работу. Я сделаю ее хорошо! — нерешительно сказал Санжа.

Он выбежал из кельи. Полуулыбка Гомбоджапа окрылила его, — может быть, жизнь опять пойдет по-старому? Надо сделать рисунок лучше всего, что он делал прежде. Конечно, он сделает изображение любимейшей из всего сонма буддийских божеств — узкоглазой богини Дара-Exe!

Чтобы снова пробраться в кумирню, Санжа, по совету Баира, решил ждать, когда приедет беспалый и Гомбоджап снова уйдет к настоятелю на ночной хурал.

2

Гость приехал в начале зимы. На угрюмых скалах лежал снег. Круглые копыта коня отпечатали след до самой ограды настоятеля.

Увидав следы, Санжа насторожился. Все было готово — и краски, и холст, и большая свеча, чтоб вплотную рассмотреть и запомнить черты богини. Днем Баир подтвердил, что прибыл именно «беспалый», и Санжа с нетерпением ждал ночи.

Когда стемнело, Баир, который давно прохаживался у кельи, поднялся выше и начал настойчиво всматриваться в белую мглу, чтобы не пропустить ламы. Скоро по тропинке к храму спустилась темная фигура Гомбоджапа. Когда калитка скрипнула и лама вошел в ограду, Баир, подождав еще немного, бросился в келью.

— Сейчас прошел! Бери свечку, нож и идем! — крикнул он Санже.

Поселок тонул в белом море. Снег застилал глаза и делал шаги едва слышными.

Баньди поднялись наверх, ощутили под снежным пухом каменистые уступы горной тропинки. Из снега вынырнула темная келья Гомбоджапа. Пройдя еще несколько шагов, Баир остановился:

— Ну, иди! А я здесь буду караулить.

Скоро сквозь хлопья стали вырисовываться темные контуры кумирни. Обойдя кругом, Санжа остановился над обрывом у того самого окна, через которое проник летом в обиталище Дара-Ехе.

Теперь обрыв был затянут белой густой пеленой. Земля спала, убаюканная безмолвным движением снега.

Санжа остановился отдышаться. Но как не похожа была эта ночь на ту, летнюю, когда он с волнением стоял здесь в темноте! Надо было скорее увидеть и запомнить черты богини, ско-

рее перенести их на холст, скорее отдать его учителю и вернуть себе расположение ламы, его волю, его дом. Надо было уйти из той слишком свободной жизни, которой жил он последние месяцы. Санжа вошел в кумирню спокойно, без трепета, как будто начал трудную, но обычную работу.

Тщательно закрыв окно, Санжа вынул свечу, в темноте подкрутил пальцами фитиль и зажег его с первой же спички.

Он высоко поднял свечу над головой. Свеча горела ярко, кумирня опять наполнилась мутным блеском старой позолоты, камней и красок, но юноша резко нахмурил брови и шагнул вперед. Он поднес свечу к самому лицу божества, потом ко второму, третьему...

«Не может быть! Это от слабого света!» — но свеча горела ярко. — Да, действительно! — в кумирне не было ни одного из тех сверкающих богов, которые встретили его здесь летом; это были всего лишь старые запыленные бурханы. Их лица почернели от времени, краски облупились и поблекли, а Дара-Ехе была такой же, каких десятки видел он в монастыре. На облупившихся ее белках чернели трещины, и в глазу было ровно шесть ячменных зерен...

Санжа опустил руку, растерянно сжимая забытую свечу. Длинный фитиль изогнулся, и воск большими каплями стекал на пол. Санжа молча стоял в полумраке.

Это было ясно: даже боги оставили его, не захотели показать ему теперь свой неземной облик. А здесь срисовывать было нечего.

Санжа опустил голову. Вдруг он услышал явственный скрип. Сзади, в стене, у которой он стоял, отпирали дверь.

Санжа прыгнул к окну, но ставни не сразу поддались пальцам. От резкого движения потухла свеча. Он сунул ее за ворот, судорожно метнулся к двери, отпрянул обратно и, бросившись в угол, лег на пол за статую Будды Багвана.

Тяжелая дверь отворилась бесшумно и легко. В кумирню вошли двое. Четко вырисовывались их темные силуэты. Вошедшие опустили на землю длинный сверток. В руках одного из них вспыхнул ослепительно яркий свет электрического фонарика. Человек направил луч в угол кумирни, где стояло изображение Дара-Ехе, с трудом переложил сверток к подножию статуи и, засучив длинные рукава халата, поставил фонарь на медный пьедестал, светом вверх. Он наклонился над свертком, и тогда Санжа увидел мясистое лицо Гомбоджап-ламы.

Второй — Жамьян — всем телом навалился на тонкую статую. Она поддалась, повернулась боком. Под ее подножием в полу открылась темная щель. Гомбоджап развернул сверток. В ярком свете холодно блеснула вороненая сталь. Один за другим Гомбоджап молча передавал Жамьяну новенькие карабины, и один за другим они исчезали под полом у медного пьедестала Дара-Ехе. Поглотив принесенное оружие, богиня опять стала на место, глядя на людей потрескавшимися глазами. Ламы молча оправляли халаты и вытирали с рук оружейное масло.

Они уже повернулись уходить. Гомбоджап нагнулся, осветил кумирню и неожиданно увидел восковое пятно.

— Что это? — сразу осипшим голосом пробормотал Гомбоджап, схватив за рукав своего спутника.

Тяжело дыша, они нагнулись над пятном.

Гомбоджап резко выпрямился. Свет фонаря заметался по кумирне, ощупывая стены, окна, обливая бурханов мгновенным сиянием, и в углу, за пьедесталом Будды, на потрескавшихся досках пола, торжествующе вырвал из темноты край халата.

Лама, как щенка, вытащил баньди на середину кумирни. Ослепленный Санжа бестолково заморгал и с воплем повалился в ноги учителю.

Гомбоджап, отирая рукавом халата налившееся кровью лицо, молча взглянул на Жамьяна. Глаза обоих метнулись в угол.

Санжа, обхватив голову руками, путался в халате Гомбоджапа и, сбиваясь на крик, объяснял — зачем он здесь.

Лицо Гомбоджапа дергалось.

— Идем! — показал жестом Жамьян.

Гомбоджап дышал тяжело, с присвистом. Нагнувшись, он взял за грудь Санжу, подтащил к двери и, ударом ноги распахнув ее, вышвырнул баньди в снег.

В эту ночь впервые в жизни Санжа вступил в ограду настоятеля. Жамьян остался с ним во дворе. Гомбоджап вошел в юрту.

Умзашри-лама еще не спал. Он удивленно поднял усталые глаза, но, увидев лицо ламы, схватился за грудь:

— Что?..

Гомбоджап распростерся перед ним и глухо сказал, не вставая с колен:

— Тайник открыт... Научи, что делать...

Умзашри замахал руками, как будто на него налетел рой ос, и, ища опоры, тяжело опустился на подушки. Пергаментное лицо его посерело.

— Может быть, ты ошибся? — прошептал он охрипшим голосом.

Но бессильное тело Гомбоджапа без слов кричало о тяжелом страхе, раздавившем ламу, и Умзашри закрыл глаза.

Когда Гомбоджап поднял голову, перед ним сидел тот же спокойный, уверенный старик, каким он привык видеть настоятеля, каким он был много лет назад, впервые читая ламам призыв Унгерна.

— Кто? — коротко спросил Умзашри, перебирая потемневшие от лет зерна четок.

Внимательно выслушав торопливый рассказ Гомбоджапа, он спросил, сморщив коричневый лоб:

— Это тот, чей дядя покинул хит вместе с Токсомом?

Гомбоджап кивнул.

— Где баньди сейчас?

— Я не отпустил его ни на шаг, он ждет с Жамьян-ламой.

— А где родители твоего ученика?

— На востоке, учитель! — ответил Гомбоджап, вопросительно глядя на настоятеля. — Они откочевали туда еще в начале войны.

— Значит, он один здесь? Так, так!— Умзашри озабоченно потирал рукой обвисший подбородок. Гомбоджап молча следил за его напряженным лицом. — Здоров ли он?

— Нет! Слаб. Больная грудь...

Прищуренные глаза Умзашри-ламы в упор смотрели в переносье Гомбоджапа, и слова падали медленно и веско:

— Бывают случаи, — четко сказал старик,— если лекарь ошибется и станет лечить от другого, пустяшная болезнь может убить.

Лицо Гомбоджапа дрогнуло. Под упорным взглядом старшего он весь съежился и ответил, так же четко отделяя слова:

— Да! Бывают такие случаи, учитель!

— Иди! Сейчас же передай ученика гыскую. Скажи, что он головой ответит мне, если баньди увидит кого-нибудь до рассвета. Позови Жамьяна и Сынге-лекаря сейчас ко мне! И с ними возвращайся сюда, иди! — он кивнул Гомбоджапу, и тот вышел из юрты, закутав голову орохомчи.

3

Закрывшись халатом, Санжа неподвижно лежал в углу запертой кельи гыскуя. Почувствовав на себе чью-то руку, он еще глубже втянул голову в плечи и под халатом зажмурил глаза, — слишком страшно было пробуждение. Но с него стянули халат. День ударил в лицо нестерпимым блеском.

Благословляя, Гомбоджап мягко положил тяжелую руку на бритую голову баньди и улыбнулся ему.

— Ты простил? — прошептал Санжа, на коленях целуя край халата ламы.

Гомбоджап поднялся:

— Идем домой, шаби! Идем домой... Мне надо сказать тебе...

Санжа вышел за учителем из кельи. Монастырь еще спал. Шаби шел за ламой, распахнув халат. На морозном солнце ему было тепло, — впереди ждали покой, теплая келья, вся жизнь, почетная и благочестивая, о которой мечталось в долгие осенние вечера у нищего пастушеского очага.

Улыбаясь, переступил Санжа порог, за кото-

рым протекала половина его жизни. Келья встретила его сухим теплом. Гомбоджап медленно обвел глазами стены, раздраженно тряхнул головой, словно сгоняя надоедливую муху, и повернулся к Санже, указав на холодный очаг:

— Приготовь чай, шаби!

Он ослабил пояс, лег на постель, подложив под голову руку. Тяжелые глаза ламы следили за радостно торопливыми движениями юноши. Похудевший, тонкий, Санжа двигался спокойно и уверенно, точно рыба, попавшая в родные воды. Проходя, привычным движением поправил свечу перед бурханом. Гомбоджап отвернулся и закрыл глаза.

— Чай готов, учитель, — сказал Санжа, достав чашки.

Гомбоджап одним сильным движением поднял свое огромное тело и подошел к огню.

Они пили в молчании. Санжа — оттаивал с каждым глотком, как льдинка, опущенная в теплую воду. Лоб Гомбоджапа покрылся глубокими морщинами.

Кончив пить, он отер лицо рукой и поднял глаза на Санжу:

— Ну, слушай, шаби!

Санжа с готовностью слушал долгий перечень своих проступков, начиная с давней непростительной лжи о разговоре в роще. Гомбоджап говорил отчетливо и твердо, подчеркивая каждое слово:

— Ты знаешь, шаби, законы святых монастырей?

Санжа утвердительно кивнул.

— Ты знаешь, что ни один проступок не остается без наказания. Ты — виноват, о твоей вине знает настоятель Умзашри-хутухта!

Санжа сгорбился и опустил голову. Он так устал от раскаяний и наказаний. Любой ценой он хотел покоя, хотел забыть об этой мучительной осени, забыть Баира, пастухов, мир — все то, что вырвало его из этой теплой, обжитой кельи учителя.

Гомбоджап внимательно посмотрел на усталое лицо шаби и, помолчав, продолжал:

— Ты знаешь, шаби, что если ученик поссорился со своим учителем, если он рассказывал о монастырских делах людям посторонним, «то он наказывается внесением в монастырский сан девяти голосов скота, и, кроме того, ему назначается положить в храме три тысячи поклонов. Если у него нет скота — ему дают восемьдесят плетей».

— Но, учитель...

Гомбоджап остановил его рукой:

— Знаю, шаби, у тебя нет скота, а устав есть устав, и не нам, недостойным, его нарушать!

Он медлил. Санжа ждал приговора, не отрывая глаз от темных губ Гомбоджапа. Лама перегнулся через китайский столик и взял бледную руку Санжи:

— Ты боишься боли, шаби, но еще больше ты боишься смеха и пересудов. Ты боишься, что тебя — моего ученика — лучшего художника хита, тебя, который славился своим благочестием, высекут перед всеми ламами, как проворовавшегося мальчишку...

Гомбоджап опять откинулся на подушки. Тонкие брови Санжи упрямо сошлись на переносице. Он молча ждал.

— Я знаю тебя, шаби, — мягко продолжал Гомбоджап, оправив рукава халата, — и я просил настоятеля... ты отбудешь свое наказание

так, что о нем никто не будет знать, и оно будет легким, шаби... Сегодня ночью сделай так, как делали до тебя многие тысячи провинившихся: выйди голым из кельи, и холод снимет с тебя вину!

Санжа радостно поцеловал руку ламы. Что такое одна короткая ночь на снегу по сравнению с долгими сырыми ночами в пастушеской келье, с тем позором, который упал бы на него восемьюдесятью плетьми? Он целовал руку учителя, а Гомбоджап, сжав губы, смотрел на затылок ученика, и лицо его стало похоже на маску.

Этот последний день Санжа должен был провести один, в молитве, а завтра, отбыв наказание, чистый от греха, принять участие в богослужении. Последний день...

Пришла ночь. Лама и шаби сидели вдвоем в келье. Гомбоджап бродил из угла в угол, скинув с одного плеча халат. Проходя мимо Санжи, он потрепал его по голове:

— Подкинь аргалу, шаби, — скорее согреешься, когда придешь!

Санжа подкинул. Он не думал о холоде. За день его тело впитало много тепла. И потом... время пройдет быстро! А завтра будет день.

Аргал вспыхивал и трещал, как хвоя. В котле вскипал чай.

— Пей! — сказал Гомбоджап, указав пальцем на котел, — пей больше, шаби, пусть тебе будет тепло!

Санжа стал пить. Он выпил три чашки, а учитель все ходил и ходил, перебирая четки.

— Пей еще! — настойчиво сказал лама.

— Но я не могу больше, учитель! — Санжа удивленно поднял брови. Лицо у него стало совсем детским.

— Ну, хорошо! — твердо сказал лама и бросил четки на кошмы.

Санжа удивленно заметил непривычную резкость движения. Учитель взял обеими руками его голову и глубоко заглянул в глаза.

— Тогда иди, скорей иди, — он поцеловал его в лоб и мягко оттолкнул. — Иди! Это будет недолго, шаби!

Санжа стал раздеваться. Глаза ламы прошли по всему его тонкому безмускульному телу. Теплые отблески огня золотили матовую кожу юноши. Он снял гутулы, неслышно ступая узкими ступнями, подошел к бурхану и, шепча молитву, распростерся перед ним. Гомбоджап нетерпеливо похрустывал пальцами. Санжа поднялся и спокойно пошел к двери.

— Подожди! — лама подошел к нему, взял за плечи, точно пробовал их крепость. — Встань вот там, — он указал на западную стену, — там тебя никто не увидит, там нет ветра! Это будет недолго, — глухо повторял лама, отпирая дверь.

Ворвался клуб белого пара. Разгоряченному телу это было даже приятно, и Санжа, улыбаясь, пошел. Закрыв глаза, Гомбоджап говорил ему вслед:

— Это будет недолго, шаби! Сгорит свеча, только одна свеча.

— Вот и все! — прошептал Гомбоджап, захлопывая дверь и глядя пустыми глазами на брошенное платье Санжи, — вот и все!

Он опрокинул котел ногой. Вода, шипя, потушила уголья и растеклась по полу. К окну вплотную придвинулась светлая звездная ночь. Лама подошел к постели и лег. У медных ног бурхана медленно цвела огоньком тоненькая красная свечка.

Когда догорела свеча, Гомбоджап внес Санжу в келью. Ресницы Санжи стали огромными и пушистыми от инея. Закоченевшее тело не решалось поверить теплу. Он дышал коротко и хрипло.

Утром у Санжи начался бред. Быстрой походкой прошел в келью Сынге-лекарь, и по монастырю поползла весть:

— Ученик Гомбоджап-ламы тяжело болен болезнью кишек, и болезнь его заразна.

СМЕРТЬ

1

От удара дверь распахнулась, с рзмаху стукнув по стене. Баир вошел в келью злой и встревоженный. Цывен молча поднял на него глаза.

— Я виноват! Понимаешь — я. Недосмотрел в снегу... Наверное, пропустил кого-то. А теперь они уморят его...

Баир тяжело опустился на кошмы, охватив голову руками.

— А нельзя пойти к нему? — спросил Цывен.

Баир, вскочив, стал ходить по келье.

— Пойти! Заразная болезнь! — он зло рассмеялся, — не пускают, — и, остановившись перед Цывеном, прошептал, оглянувшись на дверь: — Не верю я в эту болезнь! Понимаешь? Не верю!

Резко повернувшись, он выбежал из кельи и опять пошел наверх, к Гомбоджап-ламе, узнать что-нибудь о приятеле.

Он шел сосредоточенный, угрюмый. Наверху вплотную столкнулся с Гомбоджапом и от-

ступил, удивленный, — так изменился за одни сутки старый лама.

Гомбоджап покачал головой на вопрос Баира:

— К Санже нельзя, болезнь заразная... Вот, когда поправится...

— А если не поправится? — выкрикнул Баир, взглянув на Гомбоджапа.

Они в упор смотрели друг другу в зрачки. Гомбоджап сжал в руке конец пояса и криво усмехнулся:

— Хорошо, если твой глаз улавливает все оттенки света, шаби, но помни: у одежды — ворот, у человека — старший.

Баиру стало не по себе от тяжелых глаз Гомбоджапа и угрозы, скрытой в его словах. Он посмотрел на келью, где лежал его друг, и, ничего не ответив ламе, сбежал вниз.

На тропинке, за камнями, он встретил Цывена, уводившего из монастыря чью-то взмыленную лошадь.

— Приехал Митуп-лама из Урги... — шепнул Цывен, — видно, гнал коня, как волк дзерена! Смотри, — показал он на дрожавшие бока лошади.

— Зачем? — спросил Баир.

Цывен недоуменно пожал плечами и стал спускаться вниз за рощу, к монастырским стадам.

Митуп-лама вошел в келью Жамьяна. Старик встревожился, увидев нежданного гостя. Он прикрыл дверь, предложил чаю, но Митуп-лама покачал головой и указал глазами на мальчика, перетиравшего чашки.

— Выйди! — коротко сказал Жамьян.

Шаби вышел. Ламы остались одни. Оглянувшись, Митуп быстро подошел к хозяину:

— Слушай на словах. Письмо взять побоялся. Бажаев взят уже две недели... Связь с японцами в Барге оборвалась... Последняя партия оружия перехвачена.

Брови Жамьян-ламы дрогнули. Лицо стало багровым. Шагнув вперед, он стиснул руку Митупа и прошептал, не разжимая зубов:

— Две недели!.. Почему же ты только сегодня здесь?

— Потому что только два дня назад в Гандане об этом узнали, — высвобождая руку, сказал Митуп.

Вечером в просторной юрте Умзашри собрались высшие и еще раз слушали приказания старшего.

Но лишний ли десяток лет давил на плечи, глуше ли стал голос Умзашри-ламы, только липкий страх перед тем, что̀ должно притти, все больше заполнял мысли лам. И настоятель видел это по нахмуренным лицам, глубоко запавшим глазам, нервному щелканью четок, как видит пастух, что стадо его разбредается по степи, не боясь его кнута и не слушая его голоса.

Он отпустил их, на полуслове оборвав мысль, оставив только самых близких и стойких: Жамьяна, гыскуя и Гомбоджап-ламу. Они вчетвером долго говорили в полутемной, просторной юрте.

— Вот и все! — устало закончил Умзашри. — Оружие надо зарыть, завалить камнями, и пусть об этом не знает никто, кроме нас, — он обвел их худой рукой. — Будьте осторожны: для переправляющегося через море нужно судно; когда могут явиться враги, нужна осторожность!

Первым поднялся Гомбоджап, поклонился

Умзашри и вышел, высоко держа голову и расправив широкие плечи.

Благословляя, Умзашри внимательно оглядел высокую фигуру ламы.

За Гомбоджапом закрылась дверь.

— В этом человеке много силы, учитель! — сказал гыскуй. — Смотри, как прямо он держится.

Умзашри-лама медленно перевел глаза на говорившего. Его губы дрогнули хмурой усмешкой:

— Он держится слишком прямо, брат! Так ходят люди, которые не верят больше в крепость своей спины и поэтому не дают ей горбиться!

Утром тревожный вой трубы разлился по поселку. Удивленный Баир, подпоясываясь на ходу, выбежал из кельи. Труба выла, ламы выскакивали из келий испуганные, заспанные. В воздухе плыл тяжелый запах гари.

Вместе с другими Баир побежал наверх.

Над белым снежным обрывом огромным костром пылала старая кумирня. Пламя лизало потемневшую позолоту крыши. Снег вокруг покрылся черными лепестками сажи. Встревоженные галки с криками носились над рощей. Ламы толпились на камнях, куда не долетали искры и пламя.

Баир протискался вперед и увидал Гомбоджапа. Лама молча смотрел на огонь. Жамьян-лама молился. В толпе нарастал шопот, говорили о поджоге, о врагах веры, о красной власти, которая будто бы выжигает религию.

С треском провалилась крыша, разлетелись и, шипя, погасли в снегу головешки. По дымящейся груде развалин плясали последние огни.

2

Ночью, когда Цывен и Баир уже спали, к ним опрометью вбежал ученик Жамьяна — испуганный маленький Бадма. Мальчик растолкал спящих баньди. Он дрожал, и, взглянув на его бледное лицо, Баир вскочил.

— Санжа умер сейчас! — стуча зубами, проговорил Бадма.

Баир, охнув, схватил его за худенькие плечи:

— Врешь, собака! Откуда ты знаешь?

— Сейчас пришел оттуда Жамьян-лама, — сказал мальчик и заплакал, всхлипывая и утирая нос рукавом.

Цывен молча смотрел на Баира. Тот, тяжело дыша, заматывал пояс.

— Ты хочешь... — начал Цывен.

— Хочу! — криком перебил его Баир,—пусть сгорит все гнездо! Пусть сыновья их убьют своих отцов! Пусть у матерей их не будет молока в груди! Пусть истекут они кровью... Я не хочу умереть от неизвестной болезни.

Застегнув халат, он вышел на улицу и пропал в темноте, а Бадма, напуганный проклятьями Баира, убежал наверх. Цывен оглядел юрту, достал из-под кошмы мешок и стал складывать в него остатки проса, обломок чайной плитки, старые лепешки.

Утром Гомбоджап нашел у своей двери два орохомчи, придавленные камнями, а в монастырском стаде не досчитались двух коней. Келья пастухов была пуста. Темнел потухший очаг. На полу валялись раскиданные кошмы.

— Они ушли ночью! — сказал гыскуй, указывая палкой на порог.

В открытую дверь кельи толстым слоем успел набиться снег.

— Сегодня же отслужите молитву в храме, — торопливо говорил Умзашри гыскую, нахмурив большой лоб. — Умершего шаби Гомбоджап-ламы хоронить с богатыми обрядами, пусть все баньди видят, что монастырь не жалеет денег на них!

Он большими шагами ходил по юрте. Гыскуй молча следил за размашистыми движениями старика, покорно склоняя толстый затылок под упреками настоятеля.

— Следить, видеть надо! — досадливо твердил старик. — Каждое растение имеет корень, каждое явление — причину. Сразу не решились на уход. Значит, долго думали, значит, были недовольны...

— Но откуда же я мог знать, что у них в мыслях... — начал гыскуй.

— Эх! — огорченно отмахнулся Умзашри-лама, — мог и должен был знать! Не так уж много у нас учеников, каждый рос и воспитывался здесь, каждого должен видеть. И если случилась такая беда, если бегут из монастыря молодые и мы о побеге узнаем, когда уже и келью снег засыпал, — мы виноваты! Плохо, значит, воспитываем! Пойми ты, — продолжал старик, остановившись перед гыскуем, — не то страшно, что ушли двое, а то, что об уходе двух будут думать двадцать!

День и ночь молились ламы в притихшей келье Гомбоджапа над телом Санжи. Шаби лежал на кошмах, худой и тонкий. Когда подошло время, его вынесли из кельи. За телом тесным рядом тянулись ламы. Сбившись в кучу, шли баньди, изредка перешептываясь, поглядывая на

старших. Шли в степь, туда, где многие десятки лет монастырь оставлял своих умерших.

Гомбоджап возвращался последним.

Пошел снег. Лама подумал: «Вот большие мягкие хлопья засыпают непокрытое лицо Санжи...» По долине нахмуренным хозяином бродил ветер. Он сердито рванул халат Гомбоджапа, швырнул ламе в лицо горсть колкого снега и донес до ушей непривычный стук каблуков по камням.

Гомбоджап поднял голову. К нему подошел человек в аратском платье, в кепке и сапогах. Показал бумажку и предложил итти за ним.

Гомбоджап оглянулся. Он был один. Неслышно падал снег. Придавленные серыми грудами облаков, горы теснили долину. Монастырь судорожно карабкался вверх по склонам, но облака равнодушно засыпали его тяжелыми хлопьями и сталкивали вниз, заживо окутывая белым саваном.

Гомбоджап молча пошел за человеком.

За холмом их ждала крытая машина. В ней встретили ламу люди в военной форме.

ЧУМА

Весна билась в окна аймачного[1] управления назойливым воробьиным чириканьем. Из окна была видна степь, мутная и беспокойная, как весенняя вода. В стекла стучались первые мухи.

Доржи отер рукой усталое лицо и, выпив воды, закончил доклад:

— ...За эту несчастную для аратов зиму по-

[1] Аймак — крупная административная единица.

гибли тысячи лошадей, десятки тысяч быков и сотни тысяч голов мелкого скота, который и составляет основную массу аратских стад. Это понятно, товарищи: обессиленный голодной зимой, скот плохо выдерживал весенние бури... — Подвинув к себе листок с цифрами, Доржи пробежал его глазами: — А всего, товарищи, убытки, нанесенные Восточной Монголии многоснежьем этой зимы, больше трех миллионов тугриков!

Доржи возвращался домой медленно, самой длинной дорогой, чтоб хоть немного освежить усталую голову.

Он жил в юрте, на окраине города. Прошлой весной ему предложили просторную комнату в новом доме, но Доржи отказался. Он не мог привыкнуть к домам. Ему было в них неудобно и душно. Уже год он жил один. Денсима переехала в новый дом общежития медицинских работников.

Доржи налил в котелок воды, снял пояс, вынул трубку и сел на кошмы, щурясь на огонь. Не вставая, достал из комодика чай, потянулся за мясом, но раздумал — от усталости не хотелось есть.

Пил медленно, обжигая пальцы горячей чашкой. Только теперь, немного отдохнув, он почувствовал, что по-настоящему очень устал, и не только от этого суматошливого дня, но и от всей щедрой несчастьями зимы, а может быть, и — всей жизни.

Доржи проснулся от назойливого звона в ушах. Телефон, как живой, бился металлическим криком.

Злой, сонный, Доржи нащупал и поднес трубку к уху:

— Да, я...

Не докончив фразы, он заметался в чернильном мраке юрты. Ударился головой о косяк и, чертыхнувшись, повернул выключатель. Юрта наполнилась белым электрическим светом. Одевшись, Доржи выбежал на улицу.

Город спал, погруженный во мрак и холод. Под ногами похрустывали затянутые ночным ледком лужи. Доржи, хромая, вбежал по ступенькам.

В кабинете его ждали товарищ Дамба — секретарь аймачной ячейки ревсомола, молодой, энергичный парень, и главный врач аймачной больницы — доктор Ботрин.

Доржи пробежал длинные печатные строки телеграфного бланка.

— Очень плохо: чума! — сказал врач, нахмурив светлые брови.

— Почему?.. Ведь уже несколько лет у нас ее не было.

— Была голодная зима, — Ботрин говорил по-монгольски с акцентом, но легко и правильно, — скот стал слаб, люди тоже. Много охотятся на тарбагана[1]. А тарбаган несет чуму!

— Ну, так! — лицо у Доржи стало суховатым и сосредоточенным. Лоб прорезала глубокая, упрямая складка.

Обеими руками он крепко пригладил жесткие черные волосы:

— Ну, так! Вы что предлагаете, Василий Петрович?

— Надо сейчас же послать в Ундурхан медицинскую бригаду. И надо, чтоб из Ундурхана

---

[1] Тарбаган — сурок.

вас извещали о каждом новом случае. Пока — все!

— Так, так! — Доржи постукивал пальцами по краю стола, — кто ж поедет?

— Поеду я, — ответил Ботрин, — в больнице останется жена, а вот санитаров и сестер надо отобрать. Нужно, чтобы не только знающие, но и надежные были люди, чтоб не подвели, не разбежались...

Доржи поднялся, зашагал из угла в угол.

— Вы идите, Василий Петрович, и возвращайтесь сюда со списком. Мы сейчас же отберем людей. Ты, — он обернулся к секретарю, — беги в гараж Монголтранса. Передай Бальджиру — к утру машина должна быть готова! Зайди на почту, пошли срочную. Сообщи, что через... — он посмотрел на часы, — через шесть часов бригада выезжает!

Доктор вышел вслед за Дамбой. Доржи остался один. К утру в комнате стало холодно. Доржи устало оперся на стол. Вспомнились далекие годы, когда отряды Сухэ-Батора уходили на фронт. Тогда он был рядовым, теперь командовал и потому волновался больше.

Скрипнуло крыльцо. В комнату вошел Ботрин, впустив новую струю холода. Не раздеваясь, он положил на стол список своих работников:

— Вот!

Они наклонились над листом: отметили двух.

— Эти не подведут! — удовлетворенно сказал Ботрин.

Его карандаш остановился на последнем имени:

«Денсима. Девятнадцать лет. Медицинская сестра. Квалификация вполне удовлетворительная».

Нахмурив брови, Доржи забарабанил пальцами по столу.

Он только сейчас как-то вплотную понял, что в конце концов эта поездка не безопасна. Нерешительно поднял глаза на доктора:

— Маленький стаж...

— Хороший работник, — ответил тот, счищая с полушубка какую-то пылинку.

Доржи на секунду зажмурил глаза, потом решительно, жирной чертой подчеркнул имя:

— Посылайте!

Ботрин посмотрел на него, собрал со стола бумаги и, уходя, понимающе крепко пожал руку.

Автокар тяжело дышал, готовый к отходу.

Доржи обнял Денсиму. Хотел что-то сказать, но только погладил ее блестящие черные волосы, связанные в тугой узел. Она вырвалась от него, торопливая и возбужденная, и полезла на грузовик. Доржи бросил ей наверх лохматую черную доху.

Только к полудню следующего дня бригада добралась до Биндерья-хошуна. Оповещенный заранее, председатель хошуна ждал их в своей юрте. Он подошел к кабинке шофера и скороговоркой объяснил дорогу.

— Поезжай! — Ботрин закрыл дверцы кабины. Машина, загудев, пошла в степь.

— Ом Ма Хум! — шопотом твердила молитву подруга Денсимы, нахохлившись, как птица, — хоть бы скорее вернуться!

Перевалили через вал Чингисхана. Машина вдруг резко затормозила и стала.

Выйдя из кабины, Ботрин крикнул наверх:

— Слезайте! Распаковывайте ящики, юрта видна.

Стараясь не думать о чуме, Денсима натянула на ноги высокие резиновые сапоги. Надела белый халат. На головы все надели белые колпаки. В карманы положили марлевые маски.

Ботрин внимательно с ног до головы осмотрел каждого. Взял небольшой ящик с медикаментами. Санитар Жигмит — связку соломы.

Шофер молча смотрел вслед пяти белым фигурам. Медленно передвигая ноги в тяжелых сапогах, они шли к юрте.

Денсима, ускорив шаги, поравнялась с мужчинами. Янжима шла последней. Перед юртой она остановилась. Ботрин положил ящик на землю и, толкнув ногой приотворенную дверь, вошел внутрь.

Денсима сдерживала дыхание. Ей казалось, что с каждым глотком воздуха в нее вливается зараза. Она боялась посмотреть в открытую дверь.

— Жигмит! Денсима! — глухо прозвучал из юрты задавленный маской голос Ботрина.

Денсима сделала шаг назад и оглянулась на подругу.

— Денсима! — Ботрин крикнул резко и требовательно.

Девушка, не оглядываясь, вбежала в юрту. Все было так, как во всех юртах: очаг, урхо, войлочные стены. Жигмит старательно плескал на кошмы бензин из бутылки.

На постели лежала женщина, — ее лицо и войлок у изголовья были покрыты темными пятнами запекшейся крови. Стеклянные глаза были широко открыты, зубы оскалены.

— Берись! — врач показал на тело.

У Денсимы шумело в голове, обеими руками взялась она за окостеневшие ноги покойницы. Труп показался ей тяжелым, как бревно.

Увидев тело, Янжима молча отбежала в сторону.

— Вытопчи кругом траву и вскопай лопатой землю, чтоб огонь дальше не пошел! — приказал Ботрин и быстро пошел во вторую юрту.

Денсима начала копать.

— Скорее, зови Жигмита! — неожиданно крикнул Ботрин. — Здесь живая: не могу понять, что́ она говорит!

На кошмах лежала женщина. Ее лицо показалось Денсиме ошпаренным. Женщину корчило и рвало кровью.

Жигмит подошел к умирающей и, не касаясь ее, старался разобрать бессвязное бормотанье.

— Где хозяин? — повторил Жигмит, но мутные глаза женщины не шевельнулись.

— Ищите мужчину! — Ботрин толкнул Денсиму к двери, — он должен быть близко.

Они втроем разбрелись по степи, ощупывая глазами каждый бугорок. Ботрин был прав. Хозяин лежал недалеко от юрты, ничком на земле, уже окоченевший.

— Не понесу! — буркнула Янжима.

Денсима с Жигмитом потащили тяжелое тело. Труп положили рядом с первой женщиной. День кончался. Из степи наползал сумрак. Машина уже утонула в темноте. В каждом кусочке земли, в каждом прикосновении, в каждом глотке воздуха была чума. Они были одни—маленькая кучка живых в белых саванах и оскаленные мертвецы.

Ботрин с санитаром вынесли из юрты третье тело.

— Обкладывайте соломой и обливайте бензином! — приказал врач. Разбив ногой кучу аргала возле первой юрты, он пригоршнями кидал его на тела. Было темно. Свет электрического фонаря скользнул по трупам. Денсима взяла бутылку с бензином и, подойдя, плеснула на трупы.

— Поджигай скорей! — крикнул врач Жигмиту.

Тот поднес спичку и отскочил в сторону. Огромный костер вспыхнул сразу. Солома, аргал, пропитанная бензином одежда пылали, как факел.

Вдруг отчаянный крик Янжимы покрыл шипение и треск костра.

Денсима открыла глаза, — в сверкающих языках пламени трупы шевелились. Девушка отскочила назад.

— Стой спокойно! — Жигмит дернул ее за руку. — Товарищу Доржи скажу, стыдно будет!..

Спокойный голос Ботрина громко прозвучал в тишине ночи:

— В человеческом теле много воды. При высокой температуре она быстро испаряется. А за панику уволю из больницы.

ВЕЧЕР.

Доржи еще раз перечел телеграмму из Ундурхана: «Вспышка ликвидируется район обеззаражен тчк Ботрин бригадой степи сбежала одна медсестра Шагдар».

«Если она — позор! — вслух подумал Доржи, потирая нахмуренный лоб, — весь город засмеет. Ох, как нехорошо!»

В дверь постучали. Вошел Дамба, встревоженный и огорченный. Увидев замкнутое лицо Доржи, ревсомолец подошел к нему, хотел тронуть за плечо, но постеснялся и неуклюже стащил с головы шапку. Доржи, не глядя на него, набивал трубку табаком.

— Ну что ты так беспокоишься, аха? — огорченно спросил ревсомолец, — ну если даже она? Что ж тут удивительного, ведь девчонка, все-таки!

— Эх, ничего ты еще не понимаешь! — с досадой отмахнулся от него Доржи. — Куда тебе! Вот когда тебе пятьдесят шесть лет будет, тогда ты поймешь, как хочется, чтоб после тебя кто-нибудь в жизни остался, понимаешь, твоей крови человек... Чтоб твое дело, понимаешь, наше дело дальше делал! Ты пойми, у меня ведь близких-то больше нет! Я ее от родителей оторвал. Я хотел, чтобы она настоящим человеком была...

— Так ведь, аха, — нерешительно перебил его парень, — мало ли что бывает! Это ее первая поездка...

— Нет! — закрыв глаза, Доржи замотал головой. — Ты мал был, не помнишь, а у нас в партизанах так говорили: если из первого боя сбежал, никогда хорошим бойцом не будет! Ну, ладно, иди! Позвони еще раз на почту!

Парень ушел. Доржи зарылся в бумаги, пробуя сосредоточиться.

Над ухом зазвонил телефон. После первых же слов Дамбы Доржи невольно глубоко перевел дыхание.

— Хорошо... Она здесь?.. Попутной машиной приехала?.. Пришли ее потом.

Доржи повесил трубку. Теперь его опасения

ему самому казались нелепыми, — конечно, бросила работу вторая сестра — Янжима.

«Скоро окна открывать!» — подумал Доржи, взглянув на залитое солнцем окно, сел за стол и уже по-настоящему взялся за доклад о закупках скота.

Через четыре дня вернулась бригада. Грязная, похудевшая Денсима вечером пришла к Доржи. Перебивая себя, она рассказывала о своей поездке. Доржи смотрел на ее глаза, обведенные синевой усталости, и сама мысль о том, что Денсима могла заразиться, показалась ему такой нелепой, что он невольно потянулся и похлопал девушку по плечу, как бы желая и осязанием ощутить ее присутствие.

На следующий день Дамба принес ему наспех отпечатанный на машинке протокол ревсомольского собрания. Ревсомол предлагал устроить в городском клубе торжественный вечер и премировать за ударную работу бригаду аймачной больницы.

Обмакнув перо в чернила, Доржи подписал листок.

— А кого из бригады премируете и чем? — спросил он ревсомольца.

— Всех, конечно, кроме Янжимы! Все работали. Только вот что, товарищ Доржи, чем доктора премировать? Другие получат грамоты, на Надом[1] в Улан-Батор поедут, а ему это, наверное, неинтересно. Все-таки чужой человек.

— Слушай! — Доржи покачал головой, — я Ботрина шесть лет знаю. Ты говоришь — «чужой»? А вот когда он с женой три года назад

[1] Надом — ежегодный национальный республиканский праздник.

в отпуск уезжал, как во всех аилах горевали араты! А ты говоришь: «чужой»! Он чуть не своими руками всю больницу-то на пустом месте построил...

Бригаду премировали в клубе. Большой зал был полон. Сидя за столом президиума, Доржи разглядывал молодые лица, остриженные девичьи головы, яркую смесь зеленых, красных, оранжевых монгольских делинов и европейского платья. Кое-где темнели черные халаты китайцев. Протискиваясь в битком набитом проходе, ему улыбнулся тоненький Джурмту, председатель китайского профсоюза. Девушка во втором ряду, вынув из-за пояса маленькое зеркало, озабоченно приглаживала свою прямую, жесткую челку. К ней подсел юноша, что-то сказал, и оба засмеялись.

Доржи чуть улыбнулся. Эта молодежь была так спокойна и уверенна, будто и не представляла себе, что жизнь может быть иной, не улыбчивой, не принадлежащей ей.

Потеряв из виду молодую пару, Доржи оглянулся, — все были на месте. Он открыл собрание. С докладом о работе аймачной больницы выступил Ботрин. Доктор говорил неумело, смущался и путал монгольские слова. Кончил совершенно неожиданно и просто:

— Все очень хорошо, товарищи, а вот зелени у нас мало. Все песок да песок! Надо озеленять город! Мы в больнице сто двадцать саженцев тополя посадили. Все принялись, растут... А вот окапывать некому. Так что, — он, замявшись на минуту, обвел глазами зал, — кто может — пожалуйте помогать! В саду все гулять будете!

Зал взорвался смехом и долгими аплодисментами. Один за другим выходили на сцену работ-

ники бригады под шумные приветствия зала. Доржи каждому передавал почетную грамоту. Доктор Максимова читала аттестацию работника.

Третьей была Денсима. Выйдя на сцену и встретив десятки устремленных на нее глаз, она смутилась, нервно пригладила руками виски. Максимова протянула ей грамоту. В зале захлопали. Денсима поблагодарила и, прижав бумагу к груди, сбежала по ступенькам. Синий халат мелькнул и затерялся в толпе.

Зал гудел веселым говором десятков молодых, горячих голосов.

Со стены, из темной рамы портрета, на молодежь смотрели спокойные глаза Сухэ-Батора.

НАДОМ

1

На алом знамени белым лотосом цвел герб Монгольской Народной Республики. Знамя переливалось на ветру. Ветер нес запахи сена, трав, топот коней, гудки машин, людской говор, смех и песни.

Был Надом.

В пяти верстах от Улан-Батора, на пологом берегу Толы, вырос новый город. Молодой, шумный, праздничный. Палатки натягивали под жадным июльским солнцем зеленые, голубые, синие полотна, сотни знамен шумели на ветру, заглушая далекий шелест богдоульских сосен. Ржанье коней, гудки автомобилей, блеянье стад, музыка и голоса смешались в один могучий гул, — был Надом.

Улан-Батор опустел. По большой дороге из города на берег Толы целый день текла толпа пешеходов, всадников, велосипедистов, машин.

Над дорогой висела густая пелена пыли. Опустели лавки, затих базар. Все пекари, торговцы, зеленщики, мясники перебирались на Толу.

Был Надом.

Денсима бродила, ошеломленная и пьяная от шума, по извилистым улицам нового города. Она потеряла своих и не торопилась их найти.

В новых, пахнущих свежими досками, лавках продавались шелка; китайские пекари жарили в густом кипящем жиру блинчики и булки; бродячий сапожник, раскинув свою палатку на перекрестке, чинил прохожему гутул. Мальчик в яркооранжевой рубашке провел под уздцы осла, впряженного в тележку, на которой тряслись розоватые тыквы, кабачки и длинные перья китайского лука. Непрерывно гудя, в толпе проползла сверкающая, синяя, как небо, машина с красным флажком, и Денсима невольно отступила назад. Но ее тут же схватили за рукав:

— Мы ищем тебя! Скорее... Сейчас начнется борьба!

Взявшись за руки, они торопливо пошли между палатками, юртами и арбами к большой дороге. От новых разноцветных делинов пестрело в глазах.

— Ты слышала, — сказал Жигмит восторженно, — девятьсот борцов записалось на борьбу! Пока не переборются все, не кончится Надом!

Помятые и вспотевшие, они добрались, наконец, до большого, приготовленного для борьбы, поля. Направо, под натянутым полотном, светлели столы и стулья для членов правительства. Налево, сверкая на солнце начищенными трубами, гремел оркестр.

— Денсима! — окликнул девушку Жигмит. Стоявший рядом с ней коренастый загорелый

парень обернулся и с любопытством стал рассматривать ее лицо.

— Что? — она повернула голову к Жигмиту.

— Сегодня в Улан-баторской больнице будет большой обед. Будут члены правительства. Мы тоже будем, увидим!

— Вы не из Восточного аймака? Вашего отца не Мункхо зовут? — вдруг обратился к Денсиме коренастый парень. Она удивленно подняла брови:

— Да. А вы...

— Я — Баир, товарищ вашего брата. Мы вместе с Санжей были в монастыре.

Сдвинув брови, Денсима напрягала память. Брат... Санжа... Она не помнила его лица, он был для нее пустым, да, пожалуй — неприятным воспоминанием, потому что он был ламой. Она досадливо взглянула на Баира:

— Какие же новости?

— Он умер там, — просто сказал Баир, узнавая в красивом лице Денсимы тонкие черты погибшего товарища. — Он умер... А я убежал!

Денсима переглянулась с Жигмитом.

— Молодец! — Жигмит хлопнул Баира по плечу. — Это куда лучше, чем умирать!

На загорелом лице Баира сверкнули белые, как снег, зубы. Для всех троих слово «смерть» было только звуком. Слишком ярка была молодость, сильно тело и весел день.

— Смотрите! — Денсима подалась вперед и замолчала.

Они повернулись к полю, пробились в первый ряд и, толкая соседей, уселись на землю.

Оркестр заиграл марш. Блестя обнаженными мускулистыми телами, на середину поля медленно выходили первые пары борцов.

2

Доржи огляделся. Степь окружала его ласковой последневной тишиной. Вдали, в синеватой дымке, лежал город, уходя в небо тонкими стрелками радиомачт. От города медленно полз караван.

Доржи глубоко вдохнул мягкий воздух. В степи был вечер. Его вечер. Доржи тяжело опустился на землю. Холодные усики трав щекотали руку. Вынул из-за пояса письмо Денсимы, ее первое большое письмо.

«Красивый город — Улан-Батор, — писала Денсима, — не верится, что его построили люди. Ему не видно конца, а вечером огней больше, чем звезд...»

Доржи пробежал глазами страницу и остановился на много раз читанных струйках фраз:

«...Баир рассказал, что умер Санжа. Я не помню Санжи, но все-таки мне его жалко. Как плохо, что нельзя сразу уничтожить все монастыри по всей Монголии!

Я хочу ехать в СССР учиться на доктора, нам нужно очень много докторов, дядя Доржи. Нужно, чтоб ни один арат даже в самом далеком худоне не ходил больше лечиться к ламе...»

Перевернув листок, Доржи прочел последние строчки:

«...Я слышала, как говорил товарищ Очир-Бато. После этого я подала заявление. Я очень боялась, что меня не примут, но меня приняли, дядя Доржи. Теперь я — ревсомолка... А потом буду членом Народной партии...»

Доржи спрятал листок.

— Вот и все, — подумал он вслух. К нему вдруг пришло ощущение большого покоя. В па-

мяти всплыли слышанные когда-то слова: «Нефрит не покрывается коркой, полированный кинжал не темнеет, человек же, рожденный для жизни, — не бессмертен». Но эта мысль не принесла ему боли. Проведя рукой по волосам, он зажмурился и подумал, что, наверное, так же спокойно шли к закату его древние предки, видя, что родовой огонь в очаге поддерживают молодые руки. Открыл глаза и оглядел степь. На западе тлели розовые облака. Степь окутывалась сумраком.

Доржи поднялся и пошел к городу, вдыхая густую степную свежесть.

У моста мимо него медленно прошел караван. Доржи поглядел ему вслед. Рядом с первым верблюдом размеренным шагом шел погонщик. Неслышно ступая тяжелыми мягкими подошвами, верблюды уходили в густеющий мрак ночи, на новые пастбища.

Земля пахла остро и терпко. Доржи остановился. В нем поднялось смутное желание итти с этим караваном таким же медленным, размеренным шагом далеко, в ночь, в степь...

Не сдержавшись, он закричал им вслед печально и протяжно, как кричит в степи кочевник кочевнику:

— Сайн соу-гарэ-э-э! Кочуй счастливо!..

И из свежей глубины ночи до него донеслось протяжное и далекое:

— Сайн соу-гарэ-э-э!



ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите свой отзыв об этой книге, указав ваш возраст, профессию и адрес Государственному издательству „Художественная литература" (Массовый сектор) Москва, Центр, ул. 25 Октября

Художник П. Лупандин

Редактор Ю. Лукин. Технический редактор А. Цыппо. Корректоры: К. Рыжова и О. Кронгауз

Заказ издательства № 34. Х-11, Л34. Формат бумаги $70 \times 92^{1}/_{32}$. 8 печ. листов. 9,6 авторскцх листов. Тираж 10000. Уполномоченный Главлита А-863. Сдано в набор 25 января 1938 года. Подписано к печати с матриц 29/III 1939 года. Заказ типографии № 272 Отпечатано на бумаге Окуловского писчебумажного комбината имени Ярославского. Цена в переплете 3 руб.

17-я фабрика национальной книги Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига" Москва, Шлюзовая наб., д. 10.

3p.

Е. ЛЕВАКОВСКАЯ — КОЧУЙ СЧАСТЛИВО!..